



12+

ВАЛЕРИЙ ЮАБОВ

Всё начинается с детства

Валерий Юабов

Всё Начинается с Детства

«ЛитРес: Самиздат»

2001

Юабов В.

Всё Начинается с Детства / В. Юабов — «ЛитРес: Самиздат»,
2001

В книге автор талантливо и живо рассказывает о своих ранних годах, о том, как жилось в советском Узбекистане 60-70-х годов прошлого века еврейскому мальчику и его родным. «Старый Город»... «Землетрясение»... «Кошерные куры»... «Текинский ковёр и другие сокровища»... «Веселая ночь под урючиной» - уже сами названия глав, пробуждают интерес. И, действительно, каждая из них переносит нас в мир ребенка, полный открытий и событий. Дает почувствовать атмосферу, в которой живет маленький бухарский еврей то в огромном узбекском городе Ташкенте, то в многонациональном промышленном Чирчике. Книга "Всё начинается с детства" привлекла к себе внимание и получила высокую оценку. «... она захватывает читателя с первых же страниц. Яркие и объемные впечатления детства... Книга заставляет размышлять о жизни. Она помогает нам представить то страшное время, когда господствующая коммунистическая идеология калечила судьбы миллионов людей...» - так пишет о книге Доктор исторических наук Давид Очильдиев.

© Юабов В., 2001

© ЛитРес: Самиздат, 2001

Содержание

От автора	6
Вместо предисловия	7
Глава 1. Короткий Проезд, Дом 6	8
Глава 2. Больница	12
Глава 3. Старый Город	16
Глава 4. «Мышка-Норушка»	21
Глава 5. С Днём Рождения, Рыжик!	24
Глава 6. «Замин, Замин!»	28
Глава 7. Уголь	31
Глава 8. Очень хороший день	34
Глава 9. Макароны	38
Глава 10. Так больше нельзя...	42
Глава 11. Мы переехали!	45
Глава 12. «Гунча»	49
Глава 13. «А у нас соседка – гречанка»	52
Глава 14. Первый Звонок	56
Глава 15. Землянка	59
Глава 16. Собакоеды	63
Глава 17. Глоток жизни	67
Глава 18. Чубчики	70
Глава 19. Наш дом злословит, смеётся, плачет...	74
Глава 20. «а нам наплевать»...	83
Глава 21. Воскресные радости	86
Глава 22. Однажды ночью	89
Глава 23. Мой папа тоже педагог	94
Конец ознакомительного фрагмента.	95

Валерий Юабов
Всё Начинается с Детства

Дорогой маме посвящается

От автора

Своим неперменным долгом и приятной обязанностью считаю выразить огромную благодарность моему дорогому другу и помощнику Раисе Исаковне Мирер, без которой этой книги, может быть, и не было бы.

Она не только побуждала меня работать, но и вложила в наш общий труд свою душу и огромный опыт литературного редактора.

Вместо предисловия

Бухарские евреи имеют богатые литературные традиции. Однако в конце 30-х годов прошлого века они были насильственно прерваны. Литературное творчество, как и деятельность всех остальных очагов многогранной национальной культуры, оказалась в Советском Союзе под строжайшим запретом.

Возрождение наших культурных традиций началось только спустя полвека, когда значительная часть бухарско-еврейского этноса оказалась в Израиле, США и других странах свободного мира. Одна за другой выходят в свет книги бухарских евреев – и научные и художественные. В этом невиданном ранее потоке большое место занимают и мемуарные произведения.

Книга, которую читатель держит в руках, принадлежит к этому жанру, и все же стоит особняком, выходит за его пределы. Этому есть несколько причин.

Первая: большинство мемуаристов люди весьма почтенного возраста. Их образ мышления сложился в прошлой, до иммиграционной еще жизни. В. Юабов сравнительно молод (ему около 40 лет). Он покинул Узбекистан 18-летним юношей. Кругозор его и менталитет в значительной степени сформировались под влиянием новой культуры. То есть у него появился «взгляд со стороны». Я думаю, это поможет тем читателям, для которых книга создавалась. «Я пишу... для своих детей и внуков, которые живут в другой части света, в другом мире...» – заявляет автор.

Вторая, не менее важная причина, выделяющая эту книгу, – она написана талантливо и захватывает читателя с первых же страниц. Яркие и объемные впечатления детства. Персонажи повествования – родители, близкие и дальние родственники, учителя, сверстники – встают перед нами как живые. Автор изображает их правдиво, с любовью, с юмором, с болью, иногда с горечью. Не всякий мемуарист решится на это.

Вместе с тем книга заставляет размышлять о жизни. Она позволяет нам представить себе то страшное время, когда господствующая коммунистическая идеология калечила судьбы миллионов людей и в Узбекистане, и в других концах Советского Союза.

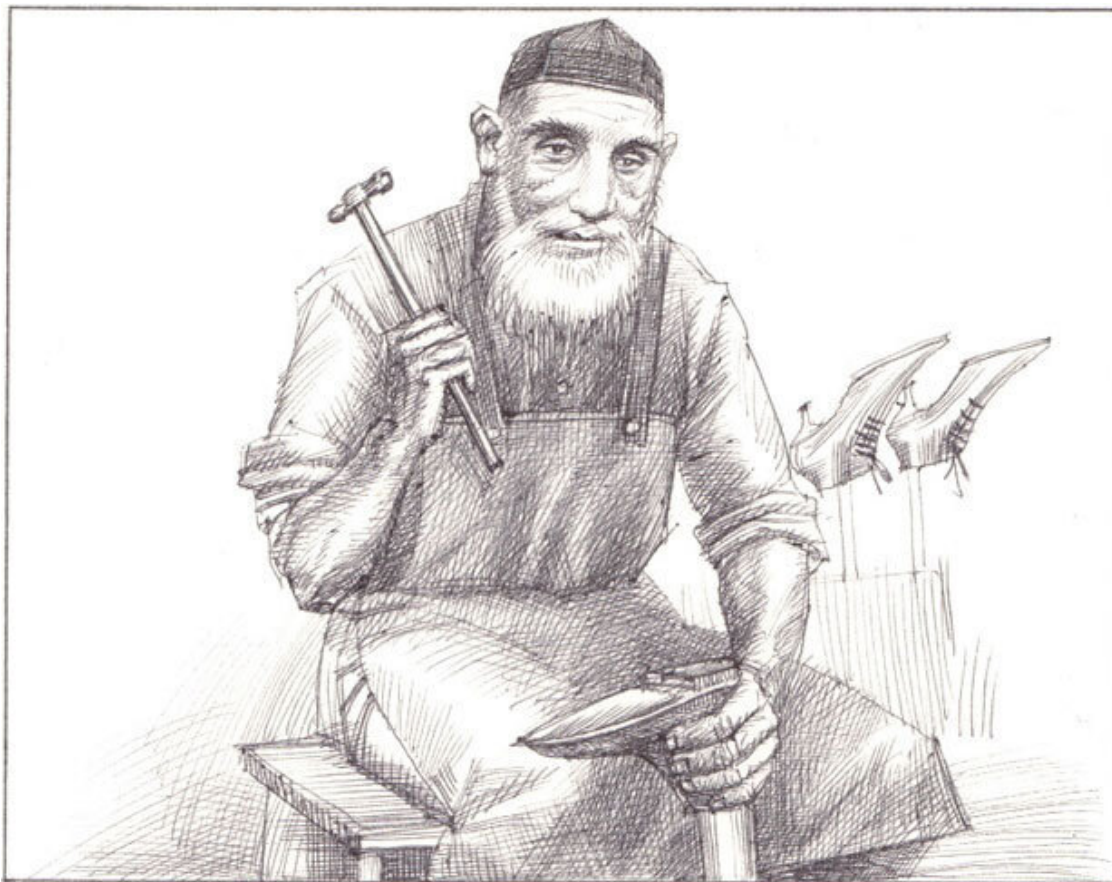
Мне думается, что книга В. Юабова может послужить ценным материалом для историков и этнографов, изучающих жизнь бухарского еврейства 50-х – 70-х годов прошлого века.

Остается пожелать автору, чтобы он продолжил творческую работу, и так же талантливо рассказал о дальнейшей своей жизни, уже в Америке.

Само собой разумеется, что публиковать эту книгу надо не только на русском языке, но и на английском.

*Доктор исторических наук,
заслуженный деятель науки Узбекистана
Давид ОЧИЛЬДИЕВ*

Глава 1. Короткий Проезд, Дом 6



– Вале-е-яя! – услышал я, выйдя во двор. Из окошка, что было напротив, выглядывало круглое личико моего двухлетнего двоюродного братишки Юры. Стоя на цыпочках на подоконнике, он едва дотягивался до форточки. Букву «р» Юрка еще не выговаривал и смешно перекраивал мое имя «Валера».

– Вале-е-яя, меня мама бьет! – жалобно кричал братишка.

Стояло раннее апрельское утро, к тому же воскресное. Наш двор еще спал, как спал и весь Ташкент, и я испугался, что Юркины вопли разбудят родственников и соседей. Тут к окну подошла Валя, Юрина мама. Она протянула руки, но вовсе не затем, чтобы шлепнуть Юру. Придерживая его за попку, она, улыбаясь, сказала:

– Чего кричишь? Все спят еще!

Братишка, конечно, не нуждался в защите. Он, как всегда, озорничал. Но я вышел во двор не за тем, чтобы играть с ним. Мы с мамой собрались к папе в больницу.

– Юрка, погоди, ладно? Я вернусь и будем играть в войнушку.

Круглое личико расплылось в улыбке. Играть в войнушку Юрка очень любил. Три года разницы в возрасте несколько не мешали нам дружить – вместе играть, ссориться и даже драться.

Скрипнула кухонная дверь. На крыльцо вышел дедушка Ёсхаим с котомкой за плечами. Дед был сапожником. Об этой нелегкой работе рассказывали его руки. Кожа на них была шершавая, как рыба чешуя, ладони покрыты мозолями, а кончики пальцев и ногти, почерневшие и испещренные рубцами, походили на искореженные гвозди. Но изуродованные эти руки были могучими. Своим железным рукопожатием дедушка – а ему было шестьдесят семь лет – порой

доводил до слез какого-нибудь знакомого, в чем-то провинившегося. Тот подойдет поздороваться с дедом улыбаясь, а отойдет скрючившись.

Дед был высокий, широкоплечий. Густые брови, сейчас седые, а когда-то черные, как смоль, широкий лоб, темные глаза подтверждали его принадлежность к иранской ветви евреев. И говорил он с легким, но характерным акцентом.

Мне кажется, жизнь деда Ёсхаима можно было обрисовать двумя словами. Тора и работа. Он молился по утрам дома, потом работал с восхода до захода солнца шесть дней в неделю, а субботу проводил в синагоге. Так же, как его отец и отец его отца, он знал только одну заботу: накормить семью. А заботу о воспитании детей дед полностью передал жене.

– Ха, келин, читотэ?!¹ – поздоровался он с тетей Валею.

– Спасибо. Как вы?

А дед уже улыбался и кивал Юре.

– Юра, нагзи-и? – протяжно спросил он.

Дед любил пошутить с малышами. Слово «нагзи» произносилось им с долгим гортанным «г» и с длинным «и». При этом лицо его становилось удивительно смешным: карие глаза раскрывались широко-широко, седые брови приподнимались, а густая седая борода оттопыривалась – так и хотелось ее потереть! Вот и Юрка, залившись смехом, протянул в форточку руку, шевеля пальцами.

– Посмотрите на этого малыша! Любит не меня, а мою бороду!

Дед веселился, а мне стало обидно, что он шутит не со мной. И еще мне пришло в голову, что давно, ох, как давно – с прошлого лета, дедушка не приносил нам мороженого.

– Дедушка, дедушка! – я даже подпрыгивал от возбуждения. – Ведь уже тепло! Принесите мороженое! Принесете? Только не фруктовое, а сливочное!

– Будет теплее принесу, – ответил дед, уже уходя. – Хай, келин, равтан ман.²

Обгоняя деда, я побежал к калитке. Воздух был пропитан ароматом цветущих деревьев. Во дворе сейчас все цвело: урючина, виноградные лозы, шпанки, черешни, яблони, сирень. Звонко капала вода, падая на землю из водопроводного крана. Чирикали воробьи, кудахтали куры, в дворовой голубятне ворковали голуби. Даже у Джека, нашей овчарки, взгляд сегодня казался веселее обычного. Да, весна наступила – и во дворе все звенело, пело, благоухало.

Бряцая ключами, дедушка отпер старые деревянные ворота. Перешагнув через нижнюю перекладину, он махнул мне рукой и, шаркая сапогами, зашагал по переулку. Глиняные ограды дворов образовывали этот переулок, узкий и длинный – чуть сгорбленная фигура деда долго была видна среди стен...

– Купите мороженое! – прокричал я.

Дед не обернулся. Еще мгновение – и он скрылся за углом, заставленным мусорными ведрами.

Захлопнув калитку, я подошел к кусту сирени. Ветви его были покрыты пышными розоватыми соцветиями, ароматными и нежными. Сирень росла в саду недалеко от ворот. Сад доходил до соседского забора. Среди яблонь и зимнего винограда у забора прятался туалет. А рядом был летний душ. Посреди сада на высокой жерди стояла голубятня. Ее окружали кусты белых и красных роз.

Сирень была нашим дворовым календарем. Начало ее цветения совпадало с приходом ранней весны. А когда ветви сирени тяжелели от пышных соцветий, это означало, что весна уже в разгаре. Сейчас куст был в полной своей красе. Я долго стоял, одурманенный запахами, ощущая, как теплые солнечные лучи, пробиваясь между цветущими ветками, гладят мое лицо. Сквозь прижмуренные ресницы они переливались всеми цветами радуги.

¹ Как поживаете, сноха? (Здесь и далее – тадж.)

² Пошел я, сноха.

Хлопнула наша дверь. Это вышла мама с трехлетней Эммой, моей сестренкой. Эммка, как обычно, бежала вприпрыжку. Глядя на нее, никто не сказал бы, что совсем недавно она месяц пролежала в больнице с очередным воспалением легких. Румянец – во всю щеку, каштановые кудряшки, звонкий, веселый голос... На мою маленькую сестренку все заглядывались.

Тетя Валя снова выглянула в форточку.

– А, Эся, как дела?

– Спасибо, нормально, – ответила мама.

Тетя Валя покачала головой.

– Бледная вы очень... В больницу, что ли?

Мама грустно кивнула:

– Да, к Амнуну.

В своих дверях появилась бабушка Елизавета. Низенькая, рыжеволосая, с черным горшком в руках. Выйдя на крыльцо, бабка всполоснула горшок, выплеснула воду во двор и снова скрылась за дверью.

– Ладно, Валя, пойду я, – сказала мама.

Пухленькая Эмма, перегнав ее, побежала к воротам, но добежав до вишни и водопроводного крана, остановилась как вкопанная. Тут уже недалеко до владений Джека – его будка была возле ворот, а наш дворовый пес не внушал Эмме доверия. Джек был из рода казахских овчарок, и лучшего сторожа, чем он, невозможно себе представить. Широкогрудый, с темной мордой и черными усами, с закрученным вверх хвостом, Джек выглядел внушительно. Чутье и слух у него были поразительные. Если кто-то чужой подходил к нашему дому, Джек поднимал боевую тревогу когда незнакомец был еще в десятках метров от калитки. Лай был устрашающий. Сейчас Джек, конечно, не лаял – мы были свои. Но он встал, лениво потянулся и медленно пошел навстречу сестренке. Дойти до нее он не мог – не позволяла цепь. Джек зевнул с безразличным видом, высунул длинный красный язык, над которым виднелись острые белые клыки, завил хвостом и как бы с усмешкой уставился на Эмму: никуда, мол, ты от меня не денешься, малышка...

– Трусиха, трусиха, – кричал я, смеясь.

Но осторожная Эмма дождалась маму, взяла ее за руку с правой стороны, чтобы заслониться от Джека, чтобы даже не видеть его (а раз она не видит Джека, значит, полагала сестренка, и Джек не видит ее), – и так, под надежной защитой дошла до сирени. А здесь уж Джек не опасен. Здесь быстроногая Эммка снова рванула вперед! Но первым-то к калитке подбежал я. Стоя в переулке, я в который раз с удовольствием рассматривал оставленную кем-то из родственников раму старого «запорожца». Когда нас с Юркой начнут выпускать за калитку, как здорово будет здесь играть!

* * *

Мама взяла нас за руки и мы пошли к трамвайной остановке, к Туркменскому базару. Путь предстоял далекий и нелегкий, особенно для маленькой Эммки.

По небольшому нашему переулку дошли мы до Короткого проезда. Перед тем как свернуть в него, я обернулся. На наших темно-красных деревянных воротах белела вычерченная мелом большая цифра. Я уже знал: она называется «шесть».



Глава 2. Больница



Нашего прихода отец не заметил. Он полусидел на кровати, откинувшись спиной на гору подушек, ладонями упираясь в койку. Голова его беспомощно свисала, склоняясь то к одному, то к другому плечу. Бледное, исхудавшее лицо казалось очень усталым. Полузакрытые веки выпирали над костлявыми щеками. При каждом вдохе грудь так трудно и долго расширялась, будто хотела вместить весь находящийся в комнате воздух, а при выдохе западала, и воздух выходил из нее с громким свистом.

Совсем недавно, всего два года назад – я еще помнил это время, – отец был здоровым, сильным человеком. Высокий, стройный, жилистый, хороший спортсмен, он преподавал физкультуру в школе и был тренером по баскетболу. Иногда отец брал меня на занятия, и даже мне было понятно, что ученики его побаиваются. Не только шалить не смели – никто и слова лишнего не произносил. Учитель он был строгий, даже грубый, жесткий, если его не слушались, мог подойти и ударить.

Таким же отец был и дома...

Мне было года два-три, когда я впервые почувствовал, что боюсь отца. По крайней мере, я запомнил именно этот случай.

Был вечер, мама укладывала меня спать. В комнату зашел отец и сразу же начал кричать на маму, в чем-то обвинять ее. Она, как всегда, молчала. Он подошел ближе, размахивая руками и выкрикивая бранные слова. Я понял, что он обижает маму, может быть, вот-вот ударит... Наверно, я уже не раз видел это, но только сейчас осознал, что маме моей плохо. И мне стало страшно, очень страшно. Я заплакал. Мама подбежала, начала успокаивать меня – и отец притих. Он продолжал ворчать, но уже без крика и угроз...

О том, что у отца тяжелый характер я постоянно слышал от родственников, прежде всего от бабки и деда, родителей папы. Сын раздражал их каждым своим словом, любым пустяком. Обиды накапливались, отношения все ухудшались. Росла откровенная неприязнь. Бабка Лиза – та умела изображать нежность к сыну (может быть, в ней иногда действительно пробуждались материнские чувства, но чаще она устраивала очередной спектакль), но дед Ёсхаим был человеком искренним, он любому в лицо говорил, что о нем думает. И уж перед сыном он не притворялся.

Главная обида была давней. Когда отец учился в Алма-Ате, в казахском Институте физической культуры, он все студенческие годы был на полном иждивении родителей. А семья была бедная, многодетная... Сын, конечно, не раз обещал, что как начнет работать, станет родителям помогать. Но не дождались они этой помощи. Сын женился, потом развелся, снова женился – уже на моей маме. Все заработки уходили на семью. И теперь при любой ссоре, а ссоры возникали постоянно, дед вспоминал об этой давней обиде, об этой неблагодарности: «Сколько мы помогли тебе, а? Забыл? Каждый месяц посылки. Каждый месяц деньги. Где же твоя помощь?»

Да, ссоры возникали постоянно. Нелепые, бессмысленные. А причина была одна: взрывчатый, вздорный, злобный характер моего отца и примерно такой же, но к тому же еще и коварный – у его матери.

Вечер. Отец сидит под урючиной. Бабка Лиза выходит во двор. Потирая спину, усаживается у своего крыльца, неподалеку от сына.

– Ты покушал?

Отец (нехотя):

– Да-а...

– Что ты покушал?

Отец (раздраженно):

– Какое твое дело?

– Ты что, ответить не можешь, а?

Отец (со злобой):

– Слушай, оставь меня в покое!

Вот этого бабка Лиза не может и не хочет. Она вскакивает, забыв про спину, взмахивает руками, хлопает себя по ляжкам, по голове – и начинается скандал...

Вот дед и говаривал постоянно:

– Одни скандалы! Слова тебе не скажи. Характером весь в мать. Кто с тобой уживется?

Что правда то правда, ужитья с отцом было трудно. И удавалось это, пожалуй, только моей маме. Но какой ценой...

Она была любящей женой. Огорчалась, страдала, но неизменно прощала любимого человека, отца своих детей. Она была к тому же азиатской женой, то есть, как любая жена в любой из стран этой части света обязана была безропотно сносить все прихоти мужа, любые его капризы, придирки, издевательства, даже побои... Любовь могла окончиться, истощиться. Но терпение, бесконечное терпение, оставалось нерушимым.

Вместе с другими многовековыми обычаями своих новых соплеменников бухарские евреи восприняли, к сожалению, и этот. Не хочу сказать, что так было во всех еврейских и узбекских семьях, конечно, нет. Та же бабка Лиза – попробуй кто-нибудь ее обидеть! Дед Ёсхаим жены побаивался... А в соседнем с нами дворе жила удивительно дружная и любящая еврейская семья. Я часто слышал веселые голоса соседей, их смех, их шутки. Казалось, не только голоса, но и сама атмосфера дружелюбия и покоя долетает до меня. Завидовал ли я? Не знаю, не знаю. Но сравнивал, конечно.

* * *

...В палате было шесть коек, расположенных у стен в два ряда, по три с каждой стороны широкого прохода. Отец лежал слева от входа.

Мать присела на край постели, приложила ладонь ко лбу отца. Он медленно приподнял веки.

– Ночью... опять... прис... туп... был... Кололи... Кис... лородную... подуш... ку дали, – чуть слышно проговорил он, останавливаясь, чтобы перевести дыхание.

Я стоял возле деревянной тумбочки у изголовья отца и с недоумением разглядывал темно-красные точки – множество точек, усеявших кожу его руки от локтя до самой почти ладони.

– Я бульон вам принесла. Горячий еще, покушайте, – сказала мама, доставая из сетки бережно укутанную тряпками стеклянную банку. Она перелила суп в глубокую тарелку и стала кормить отца, осторожно поднося ложку к его губам. Запахло бульоном, очень вкусно запахло.

Эммка испуганно оглядывала палату. Она не понимала – это ясно было по ее лицу, – почему ее папа здесь, далеко от дома, в какой-то чужой комнате, где много кроватей. Она и отца разглядывала настороженно: отвыкла. Давно уже не было промежутка между приступами астмы.

Случайная простуда стала причиной несчастья. Отец часто ездил с друзьями купаться и плавать на горную реку. Однажды весной, искупавшись под ледяным водопадом, он, не обсохнув, поехал с приятелем на мотоцикле. Начался бронхит, он перешел в бронхиальную астму – и здоровый человек, спортсмен, превратился в инвалида. Приступы астматического удушья – вещь мучительная. Днем отец отсиживался во дворе на маленьком стульчике, упершись ладонями в колени, по ночам задыхался в своей постели, вот так, как сейчас здесь, в больничной палате...

– Девочка... Припевочка... – отец проговорил это ласково, стараясь улыбнуться. Он очень любил Эммку и, бывало, сидя во дворе на своем деревянном стульчике, подзывал ее к себе, тербил каштановые кудряшки, обнимал, щекотал и нежно, певуче говорил это полюбившееся ему, где-то услышанное «девочка-припевочка».

Эмма заулыбалась, застеснялась, плотно прижалась к маминым коленкам, положила на них голову.

В палате стало оживленнее. Больные уже не спали. Кто оправлял постель, кто брился. Шелестели газеты.

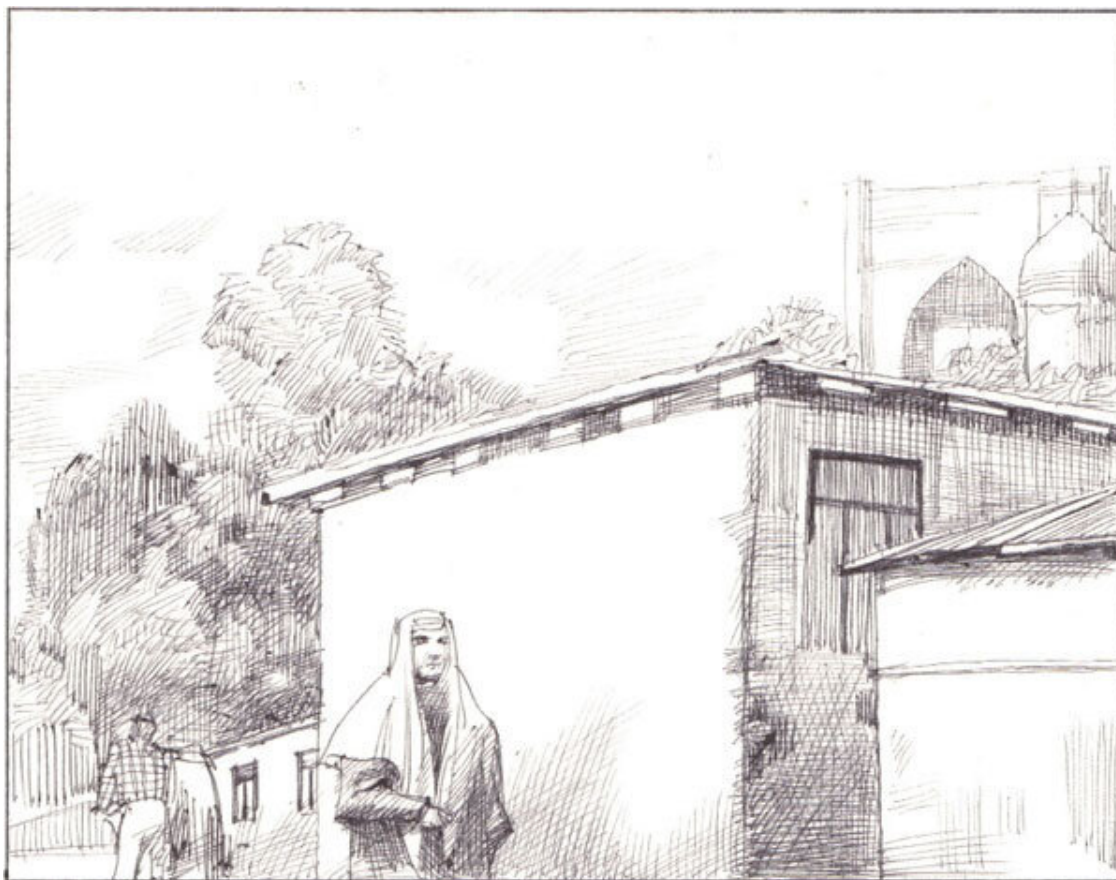
– Обход, – сообщил кто-то из больных. Вошли две женщины в белых халатах. Одну я узнал сразу: это была палатная медсестра, мы часто ее видели, навещая отца. У второй на шее висел стетоскоп. И с ней я уже был знаком. Обе ходили от койки к койке, возле некоторых задерживались. Вот подошли и к отцу... У Эммы при их приближении лицо стало плаксивым: белые халаты напоминали ей об уколах.

– О, да здесь сегодня целая семья! – подсаживаясь к отцу, сказала врачиха.

Начался осмотр. Звучали незнакомые слова, названия лекарств. Их было много, много. Мама тихонько вздыхала, стоя в ногах кровати и обнимая за плечи испуганную Эмму...



Глава 3. Старый Город



Из больницы мы отправились навестить дедушку с бабушкой, маминих родителей. На троллейбусе доехали до Кольцевой – это рядом со Старогородским базаром. А оттуда уже пришлось идти пешком.

Мне нравился Старый город с его узкими немошеними переулками, с невысокими глиняными строениями, с арыками, в которых постоянно что-то напевала вода. Мне нравилось, что женщины ходят здесь в национальной одежде, в живописных шелковых платьях. И чайхана на углу улицы Сабира Рахимова, неподалеку от бабушкиного дома, тоже казалась особенно уютной: в отличие от других, она не была шумной, на веранде ее обычно сидело за чаем лишь несколько завсегдатаев.

Мы постучали погромче – бабушка Абигай плохо слышала да и двор был большой. Бабушка отворила калитку – как всегда, она была в длинном платье, в тапочках, в платке, обмотанном вокруг головы.

– А, Эстер, бье!³ – воскликнула она радостно, увидев нас. – Валерька, а Валерька! – и я был осыпан поцелуями.

Бабушка, как и все бухарские евреи пожилого возраста, говорила на одном из диалектов таджикского с заимствованиями из иврита, который с древних времен стал родным для евреев Средней Азии и который некоторыми учеными считается самостоятельным языком «бухари».

Мы с Эммой остались играть во дворе. На глинистой почве росли там только две яблони да тал. Жилище маминой родни было бедным и сырым. Солнце почти не освещало его. Часть

³ Заходи.

одной из наружных стен постоянно обваливалась, почти каждый год ее приходилось восстанавливать.

Хлопнула калитка и во дворе появился дедушка Ханан. На плечах он тащил большой точильный станок. Высокому, но худощавому деду ноша эта была нелегка. Увидев нас, он улыбнулся и опустил станок.

– Твоя мама ай!

Встреча, как всегда, начиналась с шутки: «ай» означало – нехорошая.

– Нет, нет! – прокричал я, обнимая его и целуя полуседую бородку. – Поточите ножи, поточите!

Кудрявая Эммка стояла в сторонке, посасывая палец и радуясь привычной игре. Дед подхватил ее, расцеловал: «Духтари Бобо! Духтари Бобо!»⁴ – и унес в дом. А я остался разглядывать станок. Как любая машина, он мне очень нравился. Станок был выше меня. Два колеса, одно над другим, соединялись ремнем. Нажмешь на нижнюю педаль – и они начинают крутиться. Несколько точильных камней крепились на верхней перекладине.

Дедушка вернулся с ножами и банкой воды. Весело заиграли колеса. Ловко запрыгал нож от точила к точилу. Снопы искр стремительно вылетали из-под лезвия. Время от времени дед охлаждал лезвие в банке с водой, а затем проводил им по ногтю, проверяя остроту ножа. Взад-вперед, взад-вперед, нажимая на педаль, покачивался дед Ханан. Тук-тук-тук, тук-тук-тук – негромко и ладно постукивала педаль. Вж-ж-ж-! Вж-ж-ж-! – исполняло свою пронзительную мелодию точило. «Тум – бале-ка-тум! Тум – бале-ка-тум!» – это мы с Эммкой с восторгом включились в концерт, подражая звукам барабана. Деда весь этот шум тоже несколько не раздражал. Его усталое лицо просветлело, он тихо запел что-то свое.

Дед любил петь – без чужих, в кругу друзей. Иногда он пел очень печально. Может быть, ему вспоминалась война, он прошел ее почти до конца, потеряв многих друзей, вернулся больным – тяжелый бронхит, потом астма. А семью-то надо было кормить. А дали ему, защитнику Родины, медаль да 18 рублей пенсии. Он и так пытался подрабатывать, и эдак. Ввязался в одно темное дело и попал в тюрьму. Сын его Авнер с женой Софой много бегали, хлопотали, добились сокращения срока. Года два дед все же отсидел. Вышел из тюрьмы с туберкулезом. Но все равно пытался зарабатывать на жизнь и какое-то время расхаживал по городу с тяжелым точильным станком...

Мама вышла во двор.

– Дети, кушать будем скоро, только сходим за хлебом.

Хлеб, точнее говоря, лепешки, покупали у пожилой узбечки, которая жила неподалеку, напротив чайханы. Она пекла их в тандыре, под дворовым навесом. Небольшие, пухлые, ароматные, с хрустящей корочкой, обсыпанной семенами кунжута, лепешки эти славились на всю округу.

– Быр сум. – Узбечка, взяв пятьдесят копеек, протянула маме пять лепешек, еще дышащих жаром огня.

Ой, как хотелось сейчас же, тут же, съесть хоть кусочек! Но мама покачала головой:

– Дома, дома, за обедом.

Мы за столом... Дед пропел молитву. «Амен», – привычно откликнулись все мы... На большом блюде подали плов. Темный рис с кусками мяса пыхтел и дышал паром. На макушке рисовой горки красовалась головка чеснока. Взрослые традиционно ели без ложек, прижимая пальцами горсточку риса к тарелке, а затем быстро поднося ее ко рту. На сладкое бабушка подала изюм и морковь, нарезанную тоненькими ломтиками.

Тем временем шел неторопливый обеденный разговор.

– Как здоровье, папа? – спросила мать.

⁴ Дедушкина дочка

Дед в ответ только головой кивнул. Таких вопросов он не любил.

– Как Амнун? – спросила бабушка.

– Все так же...

– Я здоровье на войне потерял, а он – на мотоцикле... – Дед имел в виду тот, всей семье известный случай, с которого все и началось. – Эх, молодость, молодость!

– Сахар, масло хочу! Сахар, масло хочу! – раздалось из прихожей.

Слова эти сопровождались звонким хохотом и щелканьем пальцев... Это пришли мои тетки, Роза и Рена, не упускавшие случая подразнить меня. Я обычно напевал про эти самые сахар и масло, когда мне хотелось есть...

Расцеловав нас, Роза и Рена подсели к столу.

– С базара?

– Да. Опять все подорожало, – сообщила Роза. – Хукумати дузди!⁵ До людей им дела нет.

– Хай, как на фабрике, Роза? – спросила мать.

– План опять повысили. А ведь и так не угнаться было!

– Знаю, знаю. И без конца собрания: «Шейте лучше, шейте больше». А расценки – расценки те же. И подоходный налог с мая, вроде, опять увеличат.

– И у нас все так же. Собрания – чтобы план увеличить, либо чтоб алкоголиков обсуждать. Надоело! Терпенья нет.

– Сиди уж, куда пойдешь еще? Везде одно и то же, – вздохнула мама.

У матери были три сестры и старший брат Авнер. Росли они очень дружными. Когда дедушка ушел на фронт, маме было всего три года, Авнеру – шесть. Бабушка Абилай вместо мужа сапожничала в будке, Авнер же, как взрослый, занимался хозяйством – бегал по магазинам и базарам в поисках продуктов, ухаживал за сестренками да еще в будке помогал матери – чистил обувь. Однажды, рассказывала мама, Авнер раздобыл где-то две булки. По дороге домой захотелось ему пить. Подошел к водопроводному крану, положил рядом булки, напился, глядь – а булок уже нет...

– Валерья, Валерья! – нежно пропела бабушка Абилай. – О, джони бивещь. Ина гир⁶. – И она протянула мне сочный, жирный кусочек мяса...

Бабушкиной доброте не было предела. В своем скудном доме она всегда находила какой-нибудь подарок внукам: то это была самодельная игрушка, то лакомство. А уж улыбку она нам дарила непременно!

И всем вокруг казалось, что она очень счастливая. Но я иногда видел, как где-нибудь в дальней комнате бабушка плачет вместе с мамой. Они были очень близки и, встречаясь, говорили друг с другом, не замечая времени.

– Бурма, – попробовав кислую алычу, поморщилась бабушка.

Мы часто хохотали, когда бабушке в рот попадало что-нибудь очень кислое. Она так смешно морщилась: густые брови сходились у переносицы, ноздри расширялись, глаза же, наоборот, делались узкими, как щелочки, а губы искривлялись плачевно. Даже платок на голове, казалось, морщился...

А Роза тем временем уже снова дразнила и теребила меня.

– Можно, я съем твои глаза? А ресницы можно?

Подсев ко мне, она похлопывала мои щеки и покусывала веки. Тетушкам нравились мои большие глаза и длинные ресницы. Мне кажется, они порой играли со мной, как с куклой. А я сердился и стеснялся.

– Ты когда-нибудь заговоришь? А, знаю, что мы с тобой сделаем! Сейчас будем красить тебя усьмой!

⁵ Начальники воров.

⁶ Душа моя, возьми это!

Тут уж я, конечно не выдержал – вырвался из Розиных объятий и убежал...

* * *

Сурмление бровей было одним из любимых занятий женщин этого дома.

Свежие ростки усымы растирали в ладонях. Сок по капельке выжимали на дно перевернутой пиалы. А потом ваткой, намотанной на спичку, наносили его на брови. И, любуясь в ручном зеркале своими толстыми зелеными бровями, с удовлетворением приговаривали: «Ну, как?»

Когда выдавалась свободная минута, сестры включали радио, чтобы послушать узбекскую музыку. Нежная, тягучая, печальная, только она и нравилась, только она проникала в их души. Сестры начинали пощелкивать пальцами, покачиваться в такт мелодии. Знакомым песням подпевали...

А бабушка любила играть в карты, особенно в кругу детей и внуков.

Вот и сейчас она предложила свое любимое развлечение. Видела она плохо, карты держала у самых глаз. Прищурив один из них, цыкала, улыбалась, покачивалась из стороны в сторону и бормотала себе под нос: «Иби, ба сар дароя, ина бин»⁷, – и лукаво поглядывала на сидящих вокруг, как бы говоря: «Ой, попалась же я!»

Но если кто-нибудь пытался во время игры воспользоваться слабостью ее зрения, ничего из этого не получалось. Бабушка тщательно и зорко проверяла, какие карты кладут партнеры, и, заметив плутовство, невозмутимо их возвращала. Бабушка всегда сохраняла бдительность.

* * *

В доме деда Ханана и бабушки Абилай время летело быстро. Мы и не заметили, как стемнело, пора было возвращаться домой.

Распрощались. Тетки проводили нас до чайханы, а оттуда мы уже сами пошли к трамвайной остановке.

«Туркменский базар», – объявила кондукторша. Мы вышли. Разбрызгивая снопы искр, трамвай умчался.

Тьма стояла непроглядная, лишь кое-где тускло мерцали редкие уличные фонари. И тишина была особенная, ночная, ее только углублял шелест листьев, мирный звон цикад, шорох шин изредка проезжавшей машины.

По другую сторону трамвайных путей находился Туркменский базар. Огромный рынок, протянувшийся на сотни метров, хранил сейчас молчание. Он оживет с наступлением рассвета.

Шли мы не быстро, мама несла на руках похрапывающую Эмму, и лишь минут через двадцать добрались до Короткого Проезда. Лампочка над воротами тускло освещала переулок. Джек, учуяв нас, залаял басом и смолк.

В доме все спали.

Мать открыла дверь. Запах сырости резко ударил в ноздри. Громко щелкнул выключатель, свет брызнул и осветил небольшую комнатку, которая была для нас и прихожей, и кухни, и приемной для редких гостей.

– Закрой дверь, Валера.

Встав на порог, я дотянулся до дверной ручки. Поглядел на Юркины окна. Там было темно... «Войнушка», – вспомнил я. Юрка небось долго ждал меня.

Мама уложила Эмму, затопила печь.

⁷ Чёрт побери! Посмотрите же!

Я сказал, что хочу есть, обед ведь был так давно. Мама открыла холодильник. Одинокaя лампочка поблескивала среди его пустых полок.

– Уже поздно, сынок. Пойдем-ка лучше спать.

Она сказала это, отвернувшись.

– Ничего, мама! Я сыт! Уже поздно. Уже поздно, – повторял я, чуть не плача.



Глава 4. «Мышка-Норушка»



Светало. Уже прокричали первые петухи. На соседнем дворе мычали коровы, на нашем побрякивал цепью Джек.

– Дети, вставайте! Скорее! Опоздаете в садик!

Мама включила свет. Окна спальни выходили во двор и под навес соседнего двора, солнце к нам заглядывало не часто.

Напившись сладкого чаю с хлебом, мы вышли во двор. Как раз в это время дед Ёсхаим, как всегда, совершал здесь свой утренний туалет.

В кальсонах, с банкой воды в руках дед выходил во двор и, шаркая калошами, надетыми на босу ногу, направлялся в деревянную будочку-уборную. Выйдя из будочки, дед присаживался у виноградника и, похлопывая по заду ладонью, подмывался еще раз, более тщательно. Дед был очень чистоплотен. По обычаям Востока он признавал только воду, бумагой же брезговал, считая ее вредным новшеством. Все над ним подшучивали, утверждая, что на месте омовения дедовой задницы растет самый крупный виноград. Затем дед приступал к умыванию. Нагнувшись над водопроводом, он мылил свою бритую голову, шею, волосатую грудь и, фыркая, обливался холодной водой.

Нас с Эммкой это зрелище, хотя оно и было привычным, каждый раз приводило в восторг.

Попрощавшись с дедом, мы отправились в путь. Не очень далеко: детский сад «Светлячок» находился в двадцати минутах ходьбы.

Комната нашей группы – большая и светлая. Пока все дети не собрались, нам разрешено поиграть. С кудрявым Гришкой, моим другом, стараемся поймать солнечного зайчика, кото-

рый прыгает туда-сюда вдоль стены. Поймать его никак не удастся. Гришка начинает злиться. Схватив с полки деревянную кружку и колотя ею по стене, он носится за проворным солнечным посланцем.

– Все на зарядку!

Высокая, седовласая, в аккуратном белом халате воспитательница Марья Петровна строга с нами и мы ее побаиваемся. Быстро раздеваемся, старательно делаем упражнения. После зарядки – завтрак в просторной столовой, где у каждой группы – свой стол, а у каждого из нас – свое место.

Мы с Гришкой потихоньку прячем в карманы хлебные корочки: нам надо накормить друга. Мышка-норушка, как мы ее зовем, живет на помойке рядом с туалетом. Но сейчас нам к ней нельзя: сразу после завтрака начинаются занятия.

Сидим за столиками. Марья Петровна привычно начинает:

– Мы живем в большой и дружной стране. Как она называется?

Дирижерский взмах рукой – и мы вопим:

– Союз Советских Социалистических Республик!

– А кто был ее основателем? – Марья Петровна на всякий случай указывает на портрет кудрявого мальчика, и мы что есть силы голосим:

– Владимир Ильич Ленин!

Особенно старается Гришка. Он любит покричать и пользуется всякой для того возможностью...

– Сколько братских республик в нашей стране?

– Пятнадцать!

– В которой из них мы живем?

– В Узбекской Советской Социалистической Республике!

Наши дружные и четкие ответы могли бы удивить только очень недогадливого человека: мы ведь так часто все это повторяем. Снова и снова, день за днем...

Теперь можно поиграть. В теплую погоду нас выводят в беседку. Мы с Гришкой переглядываемся: наконец-то! И, стараясь, чтобы взрослые не заметили, бежим к мусорному баку. Волнующая минута: появится ли на наш зов Мышка-норушка, серенький наш дружок? Положив у стены корочки хлеба, мы терпеливо ждали ее появления. И были вознаграждены: вот в дыре показался черный нос, усы, глаза-угольки. Мгновение – и Норушка побежала вдоль стены...

– Вы что тут одни делаете? – как гром с ясного неба, раздался над нами голос детсадовской сторожихи.

Нас как ветром сдуло. О нашем тайном друге не знал никто из взрослых.

– А сторожиха ее видела? – дрожащим голосом прошептал Гриша, когда мы вернулись в беседку. – Ой, смотри, сюда идет... Сейчас все про нас скажет...

Замерев от ужаса, мы наблюдали за приближением сторожихи.

– Петровна, – окликнула она воспитательницу, – говядину завезли в столовую.

– А свежая?

– Да говорят, ничего вроде. Только не так уж много. Поторопись!

– Спасибо, загляну.

Сторожиха удалилась. Пронесло...

В беседку вбежал белобрысый Костя, вытянув вперед указательный палец.

– Глядите-ка, кто у меня!.. Сейчас я ее обману... Божья коровка, улети на небо, там твои детки ждут твои конфетки, – пропел Костя.

И доверчивая божья коровка, расправив крылышки, полетела искать деток...

После обеда мы все улеглись на койки. «Тихий час» продолжался целых два часа! Вот уж скучное время! Одно развлечение послушать, о чем говорят взрослые. Пока мы отдыхали, к

Марье Петровне обычно заглядывали работники детского сада и, сидя в сторонке, тихо беседовали. Сегодня зашла повариха Жанна Кирилловна.

– Ну как, Марья?

– Да все так же...

– Может, простишь его? Все же дочка растет.

– Сколько можно, Жанна! Трезвым его не помню. Ни копейки в дом, уже и телевизор пропил.

– А ты друзей гони. Может, один и не будет.

– Так на работе они с ним, собутыльники его. Там, что ли, я буду порядки наводить? Да мне так спокойнее, буянства в доме нет. Матом никто не кроет.

Марья Петровна тихо заплакала.

– Знаю, каково тебе. Мой тоже... Иногда так налакается где-нибудь! Так что теперь делать, Марья. Ведь не от хорошей жизни мужики-то пьют.

– Кто там разговаривает? – угрожающе спросила воспитательница, услышав чей-то шопот. – Это тихий час, все должны спать!.. Пусть не от хорошей жизни, – вернулась она к своей беде. – Но ведь голова-то на что? Дочь растет. У кого же ей учиться? Стыдно им всем должно быть, сколько невинных душ калечат! Бабам, что ли, слаще живется, Жанна? Так мы же не превратились в алкоголиков! Нет, не пушу, хватит с меня. Как-нибудь и без него протянем...

– Ну, ладно, Марья, с Богом. Побегу я за мясом... И ты приходи, не забудь!

«Алкоголики, алкого-лики... лики... Матоматоматом... Не прощу, не пушу, не пу-шу», – долго еще отдавалось эхом в моей сонной голове. Потом я заснул.



Глава 5. С Днём Рождения, Рыжик!



В этот день, вернувшись из садика, я увидел во дворе отца. Он сидел возле нашей могучей урючины на своем стульчике, упершись руками в колени. У него был такой же, как и в больнице, измученный вид, он все так же трудно дышал.

Рядом с отцом сидел на корточках Миша, Юрин папа, и копался в какой-то голубой красивой штуквине... Да это же машина! Она стоит на колесах! И помигивает светом: он то загорается, то гаснет, освещая урючину, стену за ней.

– Контакты надо наладить, – бормотал дядя Миша.

Тут он увидел меня, вскочил и проорал свое обычное:

– Посмотрите, кто идет! Здравствуй, Рыжик!

Миша всегда так восторженно меня приветствовал, не забывая напомнить о прежнем цвете моих волос. По его рассказам, когда я был «маленьким, рыжим и пузатым», я ходил по двору с пустым горшком в руке и обстукивал стены построек. А Миша при этом говаривал: «Раис идет», – намекая на мое сходство с местными колхозными руководителями, обычно пузатыми.

– С днем рождения, Рыжик! Это – тебе.

Как замороженный, я уставился на голубую педальную машину, в которой он только что копался. Черный руль, сиденье, колеса, голубой кузов – все сверкало, поблескивало новизной и свежестью. И это чудо было мое! И сегодня, действительно, ведь был мой день рождения – седьмое апреля...

– Что нужно сказать? – подтолкнула меня мама.

Я пробормотал свое «спасибо», не отрывая глаз от машины. Игрушек у меня почти не было, а таких – тем более.

Миша подхватил меня под мышки, усадил в машину.

– Валее-еея! Ка-ка-а-я? – пропел он, изображая Юрку и в то же время продолжая нашу старую игру: Миша именно таким образом расспрашивал меня о раме старой машины, давно валявшейся за воротами. «Ка-ка-а-а-я?» – неизменно вопрошал он. А я с таким же постоянством отвечал: «Запарожица». На этот раз я был так восхищен подарком, что мне было не до игры.

– Ну, Рыжик, езжай! – скомандовал Миша.

Но как я мог сдвинуться с места, если ноги мои болтались в воздухе, не доставая до педалей? Я был в отчаянии.

– Н-да-а... – дядя Миша, очевидно, не ожидал этого. – Ну, ничего, скоро подрастешь. А сейчас я прокачу тебя... Рули!

Зашуршали колеса, затарахтели педали, задрожал руль: я совершал по двору круг почета. Домашних животных охватила паника. Куры отчаянно кудахтали, взлетали голуби, а Джек, замерев, с недоумением уставился на нас. Дядя Миша шпарил изо всех сил. Шпанки, водопровод, собачья будка – все быстро пронеслось мимо меня. Вот это была езда!

Но не успел я нарадоваться, как раздался пронзительный крик:

– Вале-ее-я!

На сей раз это была не мольба о помощи. Я хорошо знал братишку. Все новое, что появлялось во дворе, должно было принадлежать ему.

– Не дам, – приказал я себе, готовясь к ссоре.

– Ю-яя, иди, поздравь Валеру, – Миша попытался предотвратить скандал. – У него сегодня день рождения.

Но подбежавший Юрка ничего не хотел слышать. Ему нужна машина и только машина. Желание это надо удовлетворить, а как – Юрке совершенно безразлично.

Он может начать орать, топтать ногами, кусаться или просто броситься в драку, не замечая габаритов соперника.

Охладить его пыл, правда, на короткий срок, способен только один человек.

Непослушание неизбежно приводит к наказанию – такой закон установил во дворе мой отец. И сам же осуществлял исполнение закона.

Юрка много раз получал от него то щелчки, которые отец ласково называл «шампанским» (видимо, из-за того звука пум-пум-пум, который возникал, когда палец щелкал по лбу), то легкий «подзадник», от которого, впрочем, Юрка иногда отлетал на порядочную дистанцию. Если же отец выбирал дерганье за ухо, это тоже было не слишком приятно.

Вся детвора, посещавшая дедушкин двор, знала, как строг «дядя Амнушка». Простого его взгляда хватало, чтобы мальчишки, носившиеся по двору, начинали ходить на цыпочках.

Понятное дело, иногда они забывались, начинались споры, драка. Отец всегда был готов разрядить обстановку. Подбоченившись, он подзывал провинившегося к себе – без единого слова, просто поманив указательным пальцем, и тут же отвечивал ему, как он говаривал, «дозу пилюль».

При этом отец ожидал полного соучастия от наказуемого: под звуки «шампанского» они вместе громко отсчитывали щелчки – до десяти. Если же бедный шалун считал без энтузиазма, процедура повторялась. Память о наказании оставалась долгая и бугристая.

...Видя, что из машины меня не вытолкнуть, Юрка вцепился мне в волосы, но тут же повис в воздухе: это мой отец поднял его за шиворот и потянул за ухо.

– Я кого звал к себе, а? – проговорил он чуть слышно, с трудом переводя дыхание. – Это не твое, не тебе подарили. Иди домой! Сейчас же!

Братишка удалился с пронзительным ревом.

Вечер был испорчен. Для всех. Родители стали молча расходиться по домам. Мою машину оставили у урючины.

– Не трогай и ты, – приказал мне папа, уходя.

* * *

В день моего рождения нас неизменно посещали родственники и знакомые, которые обычно у нас не бывали.

Многие из них, не считавшие нужным здороваться с мамой при встрече, в этот день приветствовали ее как ни в чем не бывало. Затем, подойдя ко мне, ласково меня обнимали и поздравляли. «Какой большой стал, посмотри!» – говорили они.

А я стоял и смотрел на них широко раскрытыми глазами. Просто стоял и смотрел, и, стараясь не отвечать, ждал. Ждал, чтобы они ушли. Надолго. А лучше бы вообще не приходили больше к нам.

Пришла поздравить меня и бабушка Лиза.

– Ха, бви, читает? – учтиво, как принято, приветствовала ее мама.

– Спиндилез схватил меня опять, – отвечала она, потирая кулаком спину.

Эту жалобу бабушка всегда произносила сквозь сжатые зубы, шипя, и морщилась так, будто кто-то стиснул ее, причиняя сильнейшую боль, и не отпускал. Словом, наглядно показывая, как она страдает.

Мама пригласила за стол. Усевшись, бабушка тут же принялась изображать хозяйку застолья. Но застолья довольно странного. Ни мамы, ни нас детей словно не было за столом. Была только она и ее сын Амнун, который на этот раз был в милости.

«Амнун, кушать будешь? Амнун, положить тебе еще? Амнун, что тебе налить?» – звучало за столом. Отец угрюмо помахивал головой. Ему было неловко.

Кто был всегда добр к маме и к нам, детям, так это брат бабушки Лизы, Абрам. Он нередко нас навещал, пришел и сегодня. Ему я был рад. Дядя Абраша как-то подарил нам с Юркой голубой самокат. Самодельный, сваренный из рельсов, он был очень тяжел, зато надежен. Но дело было не только в подарке. Я думаю, что дети каким-то образом умеют тонко ощущать отношение к себе. И даже сущность людей. А дядя Абраша был не только добрым и хорошим, он был человеком, которым гордилась вся родня.

Рассказы о его фронтовых похождениях похожи были на легенды. Вероятно они обрасс-тали многими подробностями, переходя из уст в уста. Но основа их, несомненно была прав-дива.

Попав в плен в первые дни войны где-то подо Львовом, Абрам сумел выдать себя за узбека, несколько раз бежал, прятался у сердобольных украинских крестьянок, снова попа-дался, и так мыкался больше трех лет.

Когда началось наступление советских войск, его, избитого до полусмерти после очеред-ного побега, освободили бойцы одной из наших частей. Абрам выжил, поправился, вернулся в строй, дошел до Праги, возвратился домой со множеством медалей и даже с орденами.

Но не помню, чтобы он щеголял в них, мне только раз удалось, сидя у дяди Абраши на коленях, поддержать в руке эти кругляшки, восхитительно звеневшие и тяжеленькие.

После страшных испытаний войны дядя Абраша не ожесточился, не сломался, он остался жизнерадостным, обаятельным и удивительно добрым человеком. Не счесть людей, которых он выручал: то деньгами помогал, то на работу пристраивал.

Удавалось это потому, что Абрам пользовался в городе большим авторитетом, хотя был всего-навсего водителем такси.

Я слышал от мамы, что дядя Абрам постоянно заботится о своей сестре Соне, – муж ее погиб на фронте, и Соня, оставшись вдовой с тремя детьми, жестоко бедствовала.

Всякий раз, когда говорили об Абраме, мама пожимала плечами: «Не пойму, а она-то в кого пошла?» – и скашивала глаза в сторону бабки-Лизиного жилья. Действительно, бабушка Лиза была полной противоположностью своему брату.

* * *

Начинало темнеть. Во дворе тихо проскулил Джек: шел кто-то из своих. Это дед вернулся с работы.

– Вот и я. Кто у нас тут новорожденный? – весело сказал он, скидывая с плеча котомку.

Позади был долгий рабочий день, но дед не выглядел усталым. Да он всегда был такой – неунывающий, энергичный. Транспорт дед пользоваться не любил, ходьба для него была самым естественным способом передвижения. К тому же, и достаточно быстрым. Идти с ним вровень удавалось немногим. «Эх, ты,» – не выговаривая буквы «ы», укорял он отстающего спутника. И, сжав кулак, пояснял: «Пустой мешок стоять не будет. Кушать надо!»

Порывшись в своей котомке дед вытащил сверток.

– Ва-ее-яя! – пропищал он, изображая Юрку. – Вот тебе сливочное мороженое!.. Юрка, а тебе... Где ты, озорник? Тебе я принес молочное...

Мороженое разложили в пиалы, и мы, чмокая от удовольствия, принялись за него. Я сидел напротив Юры. Мы ели, уставившись друг на друга широко раскрытыми глазами и, не проронив ни слова, поняли, что мы опять друзья.

Сегодня было 7 апреля, день моего рождения. Прошел он, в общем-то, неплохо: мне подарили машину, мы поели мороженого, но самое главное – мы с Юркой помирились.

Все-таки мы друг без друга не можем...



Глава 6. «Замин, Замин!»



Я проснулся от того, что кровать моя почему-то дернулась подо мной. Дернулась резко, будто хотела куда-то убежать. Потом дернулась еще раз, уже не так сильно, и еще, и снова...

Тут я почувствовал, что дрожит и качается все вокруг.

В темноте визжала сонная Эммка. Скрипели полы, позванивала посуда в серванте. Настенные часы, давно поломанные, громко затикали, музыкальные молоточки вдруг начали отбивать время. А за окном протяжно и тревожно мычали соседские коровы, кудахтали куры. Джек то выл, то жалостно скулил.

– Вставайте! Землетрясение...

Родители накинули на нас с сестренкой одеяла и чуть ли не бегом вывели во двор.

Дед с бабушкой были уже там.

– Замин, замин! – кричала бабушка Лиза. Она была в ночном белье, в обмотанном вокруг головы платке и изо всех сил потирала кулаком спину.

Дед в калошах на босу ногу и в кальсонах, которые сползли вниз, обнажив волосатый живот, удивленно разводил руками. Казалось, он сейчас спросит: «Откуда это?» За свою жизнь дед испытал немало землетрясений, они и прежде бывали в Ташкенте, но намного слабее.

Наверно, были во дворе и другие наши родственники, но я не запомнил этого. Даже Юрки не помню. Слишком меня поглотило то, что происходило вокруг.

В этот предрассветный час во дворе, на небольшом куске земли, отгороженном глиняным забором, мы словно первобытные люди были наедине со стихийным бедствием.

Земля все еще дрожала. И каждое подрагивание отдавалось глухим гулом, подобным отдаленному грому.

Очертания дворовых построек, казалось, изменяя форму, то клонились вперед, то подпрыгивали, подобно танцору на танцевальной площадке. Железная крыша издавала странные звуки, будто она лопалась по швам.

Прижавшись к маме, я закутался с головой в одеяло, чтобы ничего этого не слышать и не видеть. Но под одеялом толчки казались еще страшнее, было душно.

Я чуть отодвинул одеяло и в щелочку поглядел на небо.

Необъятные просторы небесного океана над моей головой были усеяны мерцающими звездами.

Темнея на их фоне силуэтом своих раскинутых ветвей, высоко в небо уходила урючина. Мне казалось, что своей макушкой она упирается в черноту небесного свода и, покачиваясь во время земных толчков, удерживает его. А, может быть, она даже говорит там звездам: «Не бойтесь, я не дам вам упасть».

Прошло около часа с начала землетрясения. Толчки ослабели, но еще ощущались. Все так же беспокойно вели себя животные и птицы, из соседних дворов доносились крики и плач детей.

Начинало светать.

Мы могли уже разглядеть, как выглядит наш двор: покосившийся курятник с его взъерошенными обитателями, обломки посуды у стола, куски шиферной крыши.

Наученные горьким опытом, который передавался из поколения в поколение, жители наших мест строили дома и даже заборы из самана. Делают его из глины, коровьего помета и соломы, замешанных в воде. Постройки из самана гораздо пластичнее и меньше поддаются разрушениям, чем кирпич. Но такого страшного землетрясения не выдерживали даже дома из самана.

Наш дом уцелел.

Мы еще не знали тогда, как нам повезло. Позже по радио передавали: в эту ночь, 26 апреля 1966 года, землетрясение в Ташкенте достигло силы в восемь баллов. Тысячи жилых домов были разрушены, десятки тысяч семей остались без крова. Официально сообщали о восьми погибших, но это была беззастенчивая ложь. В народе говорили о сотнях людей.

Мы разошлись по квартирам, но никто не спал. Родители бродили по комнате, пытаясь что-то убирать. Мать первым делом проверила, в порядке ли газовая плита. Попозже стали обсуждать, вести ли нас с Эммкой в садик.

– Неужели сад открыт сегодня? – сомневался отец. – Попробуем, если нет – приведу детей обратно.

Но детский сад работал. Правда, выглядел он, как потревоженный пчелиный улей. Воспитатели разбивали во дворе палатки: дано было распоряжение в здания пока не заходить, опасались новых толчков.

И ведь не зря – в ночь с 9 на 10 мая Ташкент испытал еще одно землетрясение...

Весь день прошел в суете и волнениях.

Воспитательницы озабоченно бегали то туда, то сюда, узнавали друг у друга новости.

Приходили какие-то военные, что-то объясняли, почему-то рассматривали в бинокли детсадовские постройки.

Во дворе гремело радио. Дикторы то на узбекском, то на русском рассказывали о случившемся. Впрочем, ничего нового они не сообщали. Люди узнавали новости друг от друга.

– Прохожу я мимо площади, а там трещина в земле... Ну, прямо пропасть! Наверно, несколько десятков метров!

– Слыхали? Дом пионеров, Кукольный театр...

– Кашкарка вся в развалинах. Что там творится!

– В больницы все везут, и везут, и везут. А хватит ли коек?

– Откапывают... А живы ли?

– Не знаю. С утра еще в домах кричали, стонали...

Словом, в этот день взрослым было не до нас.

Мы играли в песочнице, прислушиваясь к их взволнованным голосам.

Я пытался представить себе, как выглядит эта огромная трещина на главной площади города, на той самой, где в дни праздников происходили парады. Как же, думал я, будут теперь ходить там люди, ездить машины? И можно ли эту пропасть чем-нибудь закрыть, починить площадь?

Но площадь все же «починили». И не только площадь...

Хотя от населения и скрывали последствия землетрясения, они оказались так велики и ужасны, что оставить их без внимания было невозможно.

Еще и потому, что сейсмологи всего мира точно установили размеры бедствия. О них знали люди в любой стране земного шара.

Вот почему уже на другой день столицу Узбекистана осчастливили своим прибытием Брежнев и Косыгин.

На этот раз город получил от государства существенную помощь.



Глава 7. Уголь



Мы возвращались с мамой из детского сада. Вдруг вместо наших ворот я увидел большую, чуть не до крыши соседского дома черную гору.

– Уголь привезли! – воскликнула мама.

Стараясь не испачкаться, она провела нас с Эммкой по узкому проходу к воротам. Угольная пудра прилипала к подошвам.

Двор был пуст, только отец одиноко сидел возле своей любимой урючины.

– Привезли полторы тонны, – доложил он. – Хотели тридцать рублей, чтобы погрузить в кладовую.

Тридцать рублей – это фабричная рабочая неделя.

– Ничего, папеш. Как-нибудь сами справимся, – ответила мама.

Мама была на одиннадцать лет младше отца. Она всегда обращалась к нему на «вы». И обращение «папеш» – уважительная форма слова «папа» – звучало возвышающе.

Мама, конечно, была озабочена: легко ли одной одолеть такую гору угля?

Но, как обычно, старалась, чтобы никто этого не заметил. Она была мастером затаенных чувств. Какие бы удары ни преподносила жизнь, как бы ни было ей тяжело и больно, а бывало это часто, сносила все молча, спокойно, достойно. И только уж если чаша терпения переполнялась, она, бывало, поплачет где-нибудь в уголке.

Уголь мы покупали раз в год. Хранился он в кладовой возле урючины.

Мать принесла несколько ведер, лопату, и мы с ней взялись за дело. Тяжело ступая, тяжело дыша, носила по два ведра, доверху наполненных углем, мама.

Бегая за ней, я таскал в руках по два-три куса, какие мог поднять.

Угольная пудра липла ко всему. К стенкам ведер, к стенам строений, к одежде, к коже. Она проникала в ноздри, под веки. Черный серпантин из отпечатков наших ног четко обозначил наш путь по переулку – от угольной горы до кладовой.

А гора уменьшалась так медленно! Садилось солнце, длинные тени деревьев поблекли, стали сливаться с наступающими сумерками. Притихла голубятня. По чердакам забегали кошки. То здесь, то там искрились их зеленые глаза.

Никто не выходил помогать нам. Несколько дней назад отец в очередной раз поругался со своей матерью.

Ссора, как всегда, была беспричинной и бурной. В ней принимал участие весь двор, немедленно разделившись на два лагеря.

В таких случаях бабка, как опытный полководец, воодушевляла своих сторонников – в основном, собственных детей. Как только они появлялись, она собирала их за столом, излагала причину очередной ссоры и ход событий, без зазрения совести искажая факты.

Бабка прекрасно понимала, что эти ее рассказы подливают в огонь масло, делают взрывоопасной атмосферу и без того недружного нашего двора. Но, вероятно, именно это и доставляло ей удовольствие.

Склочничала бабушка Лиза виртуозно: заварив кашу, тут же отходила в сторону, невинно наблюдая за развитием скандала. А, насладившись, как ни в чем не бывало выступала в роли миротворца. То есть делала некоторую попытку еще и возвысить себя.

Именно с этой целью дня два назад, после ссоры с отцом, она принесла к нам обед для него, разумеется, в отсутствие папы.

Мама прекрасно понимала, какой скандал устроит ей отец, увидев эту тарелку. Поэтому она ее вынесла и оставила на бабкином окне.

Возмездие последовало немедленно.

– Мама! – закричал младший брат отца Робик. – Эта сволочь принесла обед обратно!

– Где эта сука? – орала на весь двор, едва войдя в ворота, отцова сестра Тамара (ее успели осведомить о мамином «преступлении»). – Где она? Я ее... (далее следовала непристойная ругань).

Тетя Тамара была большой любительницей сильных выражений. Не проходило и дня, чтобы она не поскандалила с кем-нибудь.

– Эй, Старый город! – презрительно окликал маму дядя Миша.

Он был школьным учителем, преподавателем физики, а мама – простой фабричной швеей.

Ссорились они с отцом, но, непонятно почему, вся злоба при этом выливалась на нее, на мою маму. Она не знала, куда ей от них деваться.

Но даже в самые тяжелые минуты не подстрекала отца, не настраивала против матери, братьев, сестры. Оказавшись между двух огней, она молчала. Молчала и терпела.

Мама и воспитана так была, и по натуре была спокойной, сдержанной. Даже замкнутой, пожалуй. У нее не было ни привычки, ни охоты вмешиваться в личную жизнь окружающих. Кого-то осуждать, сплетничать. Неинтересно это ей было. Да к тому же и некогда.

Болезнь мужа не давала нормально жить. За ним надо было ухаживать, присматривать, его надо было кормить. Словом, работать приходилось с утра до ночи. Денег в достатке никогда не было. А помощи никакой.

* * *

Уже перевалило за полночь. Высоко в небе стояла луна, полная, чистая, яркая. Свет ее нежно серебрился на постройках, четко обрисовывая каждую неровность, каждую малость во дворе.

Красивая была ночь. Тихая-тихая.

Только мама нарушала тишину. Все скрежетала и скрежетала лопата, все громыхал уголь, падая в ведра.

Последние гребки – мы закончили работу. Пот градом катился с матери. Ее лицо, руки, ноги, платье, фартук – все походило на черный панцирь, цельный, тяжелый, плотный, грубый.

Теперь надо было помыться. Дома. В баню мы поедem завтра.

Мама поставила греть воду. Скорее, скорее, ведь завтра... Нет, уже сегодня рано утром – на работу. А мне – в детский сад...

Кажется, я так и заснул, сидя на стуле. Уж не знаю, как бедная мама мыла и раздевала меня.



Глава 8. Очень хороший день



Вероятно, был какой-то праздник, уж не помню какой, только этим утром все мы были дома – мама, Эмма, я. Все, кроме отца, он снова лежал в больнице. Я только собрался поиграть во что-то, как со двора послышался певучий клич:

– Э-э-э-э-с-те-е-е-е-р!

Во дворе звучало имя моей матери. Звучало, как песня, как серенада, звучало так мелодично и звонко, словно оперный певец исполнял арию, состоящую из одного этого имени. Но я-то отлично знал этого певца, его голос нельзя было спутать ни с чьим другим! И хотя это был мужской голос, он удивительно напоминал голос моей мамы.

Ну конечно же, пришел дедушка Ханан!.. Он стучать в дверь не любит. Предпочитает заявлять о своем приходе вот так, прохаживаясь по двору между нашей и бабкиной дверями и что-нибудь распевая. В черном своем пиджаке и яркой тибетейке, с узелком в руках, задрав голову с седоватой бородкой, он ходит и ходит, улыбаясь, размахивая узелком, и всей округе, всему миру рассказывает о своем прибытии и о своей любви к дочери:

– Э-э-э-э-с-с-с-те-е-ер! Э-э-э-э-с-т-е-е-е-е-р! Я при-и-и-ше-е-л, Э-э-э-с-те-е-р!

Когда мой дедушка Ханан поет – один или среди друзей, – он никого и ничего вокруг не замечает. Теперь он сколько угодно может вот так расхаживать!

– Мама! Дедушка Ханан пришел!

Но мама уже бежала к дверям открывать. Она улыбнулась мне через плечо – и что это была за улыбка! Подобной улыбкой мама одаривала нас с Эммкой только в редкие минуты радости. Руку она клала на руку и чуть склоняла голову. Углы ее нераскрывшихся губ приподнимались и линия рта изгибалась, изменялась таким волшебным образом, что все лицо сразу освещалось, молодело. Карие глаза становились еще больше, ярче, какой-то таинствен-

ный свет загорался в них изнутри и тоже становился улыбкой. Крутые дуги густых, почти сросшихся бровей приподнимались, как волны, и над ними, как лодочки над волнами, взлетали две родинки.

Наша мама была красавицей. Я думаю, именно таких красавиц воспевали великие поэты Востока. Высокая, стройная, нежноликая, с густыми черными волосами, такими длинными, что когда мама распускала их, волосы тяжелой волной струились по ее спине до бедер – конечно же, она была воплощением восточной красоты!

Я любил смотреть, как мама причесывается. Сидя у маленького круглого зеркальца, склонив голову набок, мама неторопливо, прядь за прядью, расчесывала волосы. Они струились и блестели даже при свете неяркой лампочки, освещавшей мамину спальню. Вот она втыкает гребенку в гущу волос где-то у макушки и медленно проводит ею вниз, по пряди, до самого конца. И опять, и опять, и снова, и снова, пока прядь не становится упругой, пока каждый волосок – я это вижу – не отделяется от соседнего, хотя и лежит в той же пряди. Только тогда мама берется за другую прядь.

Каждый раз на расческе остается маленький пучочек выпавших волос. Мама его не выбрасывает, она аккуратно сматывает такие пучочки в один клубок. Клубок этот, к слову сказать, собирается долгими месяцами, а то и годами, и все растет, растет...

Но вот волосы расчесаны, можно делать прическу. Это особенно увлекательное зрелище. Первым делом мама кладет чуть ниже темени этот самый клубок – а потом начинает неторопливо, какими-то удивительно плавными движениями обкручивать, заматывать его длинными и гибкими прядями волос. Так на моих глазах возникает на затылке большой, упругий пучок – прическа, которая кажется мне чудом, совершенством.

Мама распахнула дверь – и я, выскочив навстречу деду, бросился в его объятия. Приподняв меня и прижав к себе, дедушка стал медленно кружиться.

Ох, до чего же это приятно! Все плывет вокруг – и шпанка, и урючина, и огород, и будка Джека, и сам он с длинным высунутым языком, который, кажется мне, вьется за мной, как нескончаемая розовая лента – как только такой язык помещается у Джека в пасти?.. Плывут мимо стены, окна, тюлевая занавеска в бабкиной спальне.

Занавеска только что задернулась. Бабка дома, а окно – это ее смотровая щель, откуда просматривается весь двор. Но сейчас бабка Лиза подглядывает за нами тайком. Когда приходит дед Ханан, она свою дверь не открывает, не появляется. Да дед этого и не ждет, говорить-то им не о чем...

Мы все кружимся и кружимся, дедушка поет, я подпеваю. Как мне хорошо! Тем более, что кружат меня одного – Эммка спит.

Я кружусь и размышляю: как же это тибетейка держится на бритой дедовой голове? Небось приклеена. Ведь никогда не падает! Дед даже почесывает голову по-особому, не снимая тибетейки. Одной рукой он приподнимает ее тыльную сторону, как створку ракушки. Вторая рука заезжает внутрь – и раздается шуршащий звук. Заглянуть туда, под створку ракушки, мне ни разу не удавалось. А очень хотелось: вдруг там, как в тайнике, хранится что-то драгоценное, необычное, что-то, что дед строго оберегает, прячет от чужого взгляда?

– Ну, хватит, пошли.

Дед поставил меня на землю, взял свой узелок, и мы с ним зашли в дом.

Мама поздоровалась с отцом сдержанно. Так уж принято в Азии – обниматься и целоваться можно с матерью, с отцом же следует обращаться скромно и почтительно. Подлинные чувства проявлялись, когда случалась беда. Мама, например, сутками ухаживала за дедом во время тяжелых приступов астмы.

Дед уселся за небольшой стол в углу и осторожно развязал свой узелок. В нем, укутанный тряпками, стоял котелок с горячей едой. О, как вкусно пахло из котелка! У меня даже

слюнки потекли – ведь мы сегодня еще не ели. Правда, вчера к вечеру мне удалось лишний раз перекусить не совсем законным образом...

Вчера бабка Лиза сварила пельмени. Их аромат разносился по всему двору. Впрочем, до нас он долетел в первую очередь: мы с мамой сидели за столом у шпанки, а бабушка принесла пельмени именно сюда. Но это вовсе не означало, что нас пригласили обедать. Отец был в больнице, а невестке и внукам без него на угощение рассчитывать не приходилось. Хотим понюхать, как пахнут пельмени, пожалуйста...

– Робик, иди кушать! – крикнула бабушка. Робик не отзывался. Бабушка позвала еще раз, потом побежала в дом за сыном.

Я стоял возле мамы, сидевшей у другого конца стола. Струйки душистого пара щекотали мне ноздри. Я пристально смотрел на маму, и она знала об этом, даже не глядя на меня. Внезапно она встала. Повела меня за руку прямо туда, к блюду с пельменями, и, схватив горячую пельмешку, сунула мне в рот. О, как вкусно! Очень горячо, конечно, но да что уж там, все равно вкусно... Оп! И еще одна у меня во рту. И еще...

Вот так я вчера пообедал. Но сегодня мой желудок, конечно, уже не помнил об этом. Сидя у деда на коленях (ведь я был еще малышом, а маленьких баловать можно), я с наслаждением уплетал вкуснейшую еду. Бабушка Абигай была первоклассной поварихой, моей маме было у кого поучиться. Только теперь не так уж часто приходилось ей применять свое искусство.

– Как дети? – спросил дед.

Этот короткий вопрос заслуживает особого комментария. Во-первых, дед терпеть не мог, когда его спрашивали, как он поживает. Поэтому и он не любил задавать такие вопросы. Во-вторых, дед очень хорошо знал, что его дочь Эстер давно уже поживает не лучшим образом, хотя обязательно ответит, как ее в детстве учили: «Спасибо, папа. Все хорошо». Так к чему же расспрашивать? И что мог сделать дед кроме того, что они с бабушкой Абигай и так делали для нас? Вопрос «как дети?» был самым безболезненным.

Правду о своих родителях я узнал только через много лет. Мамины родители, особенно дед, были против этого брака. Вероятно, знали кое-что о женихе. Но моя юная мама полюбила, и напрасно они пытались отговорить ее. А теперь, семь лет спустя, когда ошибка стала очевидна, как, впрочем, уже и в первый год супружеской жизни, ей оставалось только терпеть и отвечать: «Спасибо, папа. Все хорошо». Может, потому что она все еще любила и надеялась на лучшее? Может быть, просто считала, что детям нужен отец?

– Дома тоже шьешь? – спросил дед.

– Иногда. Если разрешают домой брать.

Швейная машина «Зингер» фабричного образца стояла напротив обеденного стола. После дедушкиного точильного станка она, на мой взгляд, была самой лучшей тарахтелкой в мире. Работая, мама выжимала педаль до пола – и что это был за звук! Нескончаемый, звонкий, четкий. Настоящая пулеметная очередь. Лучше, чем в кино! Я прятался за дверной косяк и, встав на одно колено, готов был к любому сражению. Да и сам вел огонь!

Тук-тук-тук... Тук-тук-тук... Это я из автомата без промаха бил по врагу. Уничтожал роту за ротой. Подходите, мне не страшно! Только жаль, что боев таких было мало: мама не часто сидела дома за машинкой.

* * *

Дедушка ушел. Проснулась Эммка. Мама накормила ее, включила радио. Передавали узбекскую музыку. Моя кудрявая сестренка, сытая и довольная, закружилась в танце. Закружился и я, а мама запела, прищелкивая пальцами. Мы вертим головками, двигаем плечиками, притоптываем. Это для нас играет целый оркестр!

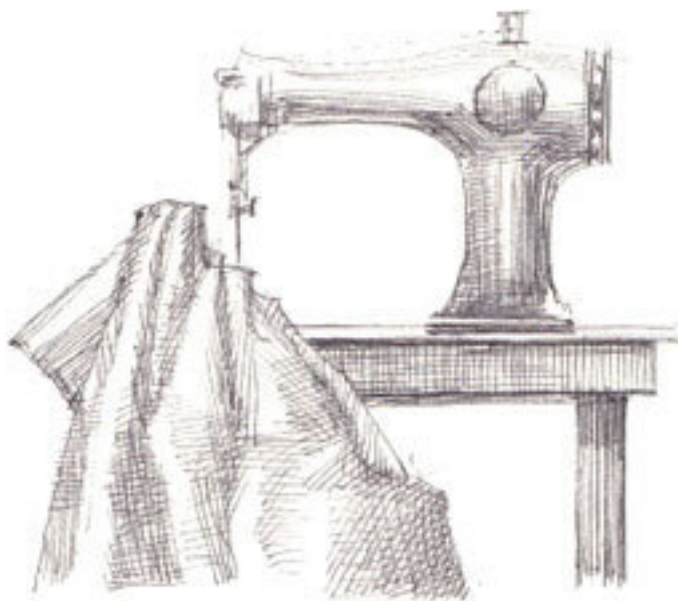
Эммка до того завертелась, что шлепнулась на пол, и танцы прекратились. А я, воспользовавшись моментом – у мамы хорошее настроение и она с нами, – уселся на ее ногу покататься.

Вверх-вниз, вверх-вниз... Мама сидит, закинув ногу на ногу, покачивает ногой и сама покачивается в том же ритме, я на ее носке, как в седле на лихом скакуне. Ух, как мчится мой конь, как все вокруг мелькает, даже голова кружится... Лишь бы не слететь.

Но в самый разгар моего блаженства завизжала Эммка: она тоже хочет покататься. Немедленно! Попробуй не уступи...

«Оппа-ля! Оппа-ля!» – приговаривает мама, а кудрявая закатывается от смеха. Я слышу и мамин тихий смех. Нам всем троим весело.

Какой хороший сегодня день.



Глава 9. Макароны



– Эся, Ёсхаим занес два рубля? – во всеуслышание спросила бабушка Лиза.

Подбоченившись, она стояла на своем крыльце, широко распахнув кухонную дверь.

Было воскресное утро. Дед только что, уходя на работу, постучал к нам и передал маме два рубля. Покосившись на свое окно, он буркнул: «Не забудьте записать». Так ему было велено. Дескать, деньги даны в долг.

– Занес, да? – продолжала вопрошать бабка, оповещая двор о том, как обстоят дела в нашей семье. – Вот и хорошо. Съездишь на базар, купишь Амнуну куриную ногу, рис. Сваришь бульон. Еще возьми лепешку и один бо-о-лышой помидор. Вот такой, – она широко распялила правую ладонь, боясь, что мама купит недостаточно крупный.

Когда отец болел, ездить на базар приходилось очень часто. В воскресные дни мама брала с собой и нас.

Путь, знакомый до мельчайших деталей. Короткий Проезд соединялся с улицей Шедова небольшим, метров в двести, переулком. Он то сужался, то расширялся. В самом узком месте ширина его была не более двух-трех метров. Стены двух домиков, образовавших этот узкий проход, подперты были массивными кирпичными контрфорсами. Утолщенные у основания, эти опоры поддерживали постройки во время землетрясений.

В одном из этих домиков жили, как в сказке говорится, дед да баба. В хорошую погоду бабка сидела обычно возле ворот на маленьком деревянном стульчике и торговала семечками. Только что поджаренные, они лежали горкой в маленьком тазике и очень аппетитно пахли.

Детей у стариков не было. Иногда они зазывали местную детвору в гости и угощали всех семечками. Их двухкомнатная квартирка была очень бедной: стол да пара стульев, кровать, шкаф. Правда, имелся и телевизор.

Улицу Шедова – широкую, мощеную, с арыками по краям – я очень любил. Вдоль арыков росли величавые дубы. Где-то там, высоко-высоко над головой их ветви сходились вместе, образуя густой лиственный свод.

Особенно хорошо здесь было в дождь и во время грозы. Вокруг гремело, сверкало, дождь барабанил по крышам, по кронам деревьев. Но все это было снаружи, а я находился в другом мире: ни шелеста листьев, ни дуновения ветра, ни единой капли дождя. Я был под охраной дубов-великанов.

Улицу Шедова да и вообще наш район довольно густо населяли бухарские евреи. Жили здесь и наши родственники: младший брат деда, его племянники и множество их детей. Виделись мы не часто, но в дни торжеств и скорби большая часть этой семьи собиралась вместе.

С раннего детства я знал, что и я, и мама, и папа – вся наша семья – бухарские евреи. Но что это значит, никакого понятия не имел. Только став взрослым, я задал себе вопрос: а кто же мы такие? Почему люди, никогда не жившие в Бухаре, называются бухарскими евреями? Объяснение оказалось довольно сложным. Оно увело меня очень далеко от Бухары, вообще от Узбекистана, и в давние-предавние времена.

* * *

В 586 году до нашей эры произошло событие, которое стало одним из важнейших в истории еврейского народа. Событием этим было вавилонское пленение.

Иерусалим разгромили войска вавилонского царя Навуходоносора, и большинство населения Иудеи было угнано в Вавилон. Через полстолетия после этого страну завоевали персы. Еврейским пленникам разрешено было вернуться на родину, однако известно, что большинство из них осталось в Вавилонии. За долгие века здесь образовалась своеобразная этническая общность. С персами она не ассимилировалась. Мало того, когда римляне окончательно разгромили Иудею, Вавилония стала мировым центром еврейской культуры и науки. Здесь складывалась и росла историческая память евреев, укреплялся иудаизм, расширялась его духовная культура. Достаточно вспомнить о том, что именно здесь был составлен Вавилонский Талмуд.

Нашим предкам не суждено было обрести на этой земле новую родину. Начиная с V–VI веков новой эры в Персии много раз происходили события, навлекавшие на евреев жестокие гонения. Значительная часть персидских евреев постепенно переселялась в различные государства и части света, в том числе в города Средней Азии, в Таш или Шаш, как в древние времена назывался Ташкент, в Самарканд, в Бухару.

В средневековые Бухара была центром большого, могучего ханства. В нем процветали и торговля, и ремесла, и искусства, и науки. Здесь постепенно образовалась самая большая еврейская община в Средней Азии. Я читал где-то, что первые упоминания о ней относятся к XIII веку. Вероятно, именно из-за того, что Бухара была блистательной столицей самого крупного из узбекских ханств, название здешней еврейской общины – «бухарские евреи» распространилось (правда, уже много позже, в конце XVIII века) на всех евреев Средней Азии. В том числе, конечно, и на узбекских.

Если даже начинать отсчет с XIII века, евреи поселились среди узбеков достаточно давно. Как было им не сжиться друг с другом? Бухарские евреи переняли многие традиции узбеков, похожи на них поведением и даже внешностью. Уже в наше время среднее и высшее образование они получали в местных школах и институтах. Достаточно активно участвовали во всех областях жизни республики. И все же... Все же родным языком оставался для них «бухари», основанный на фарси. То есть таджикский. Узбеки же, как известно, народ тюркоязычный. На

бухарском разговаривали дома, его старались передать детям. И религию продолжали исповедовать свою, иудейскую. И древним обычаям, как умели, следовали. Да и жили по возможности недалеко друг от друга, образуя еврейские махалли. Словом, бухарские евреи не превратились в узбеков, не смешались с ними, а образовали еще одну своеобразную субэтническую общность, еще одну ветвь на древе народа.

Семья Юабовых, родителей моего отца, принадлежала к числу евреев, оставшихся в Персии, не покинувших ее даже в самые тяжелые времена. Таких тоже было немало. Только в конце прошлого века мой прадед на верблюде перекочевал в Среднюю Азию и поселился в Ташкенте. Здесь и родился его сын, мой дед Ёсхаим.

* * *

Вернемся же в Ташкент из нашего путешествия в прошлое... Мы с мамой за это время успели выйти на Педагогическую, пошли по ней вниз и оказались в самом центре города, многолюдном и шумном. Здесь пересекалось множество трамвайных и троллейбусных линий, сновали такси. Здесь возвышался Центральный универмаг, окруженный киосками, столовыми, различными мастерскими. А от центра рукой подать было уже и до Туркменского базара. Хоть и не самый большой в городе, он считался одним из лучших. Поражал базар и своей чистотой. От посыпанных песком дорожек веяло прохладой. Открытые лавки тянулись длинными, метров по триста, рядами. Здесь разрешали торговать только колхозникам. А за ними уже располагались частники – мясники, садоводы, кустари и прочие.

Открывался базар очень рано и сразу же превращался в некое подобие пчелиного улья. И гудел базар монотонно, как пчелиный рой, а над этим однообразным низким гулом то и дело взмывали высокие, тонкие голоса. Это неутомимые продавцы зазывали покупателей.

– Эй, опа, посмотрите на эту клубнику! Во рту тает. Попробуйте! – зазывал садовод.

– Подходи, народ! Свой огород, половина мед! – напевая, восхвалял свой товар другой.

Торговали в основном пожилые узбеки. Одеты они были почти одинаково: тюбетейка, чапан (длинный ватник), мягкие кожаные сапоги.

Сказать, что торговаться на азиатских рынках принято – значит, не сказать ничего! Это особый ритуал, своего рода искусство и одновременно игра, украшающая однообразную жизнь. Цену, названную продавцом, не просто оспаривают, а приводят свои доводы, почему ее надо снизить. При этом никогда не унижают достоинство продающего и его товара.

Мама прекрасно владела этим искусством, как и вообще узбекским языком. Она выражалась настолько чисто и грамотно, что говорившие с ней даже не сомневались, что она узбечка. Да и вообще маму – высокую, стройную, с черными, как смоль, волосами, принимали за свою с первого взгляда, по внешности. Нередко это помогало и купить подешевле. И сегодня помогло...

* * *

Сделав покупки, мы вернулись домой. Мама только принялась готовить, как Эмма стала капризничать, хныкать. Она уже и по дороге была вялой. Щеки ее покрылись краснотой, глазки косили. Видно было и без термометра, что у сестренки жар.

Эмма болела часто. То гриппом, то воспалением легких.

Увидев, что Эммке плохо, мама побежала за врачихой, жившей неподалеку и частенько посещавшей нас.

– Грипп. Вирусный грипп, – сказала врачиха. – Наверно, в продленке опять прихватила.

Сделав сестренке укол, она предупредила маму: уколы нужно делать каждый день. Провожая врачиху к дверям, мать протянула ей пачку макарон.

– Возьмите, прошу вас, денег у меня нет. Мне так неловко, мы так часто вас беспокоим...
Во всех семьях было принято как-то расплачиваться с врачами, приходящими на дом, или делать им подарки. Но в нашем доме не было ни денег, ни красивых вещей.

– Что вы, Эся, – в замешательстве сказала врачиха, – не нужно этого!

Прижав к груди захрустевшую пачку макарон, мама сказала:

– Мне нечем платить за уколы. Положите Эмму в больницу, пожалуйста.

Вечером приехала скорая помощь. Эмма, поняв, что ее опять разлучают с мамой, отчаянно заплакала:

– Ну, мама! Ну, мамочка! Не отправляй меня! Ну, пожалуйста! Поезжай со мной!

Во дворе стоял невообразимый шум. Рыдала и кричала Эммка, бешено лаял и рвался с цепи Джек. Растерянные Валя и Миша выглядывали из окна.

Мама, конечно, не выдержала. Схватив меня за руку, она подбежала к машине, стала упрашивать, чтобы ей позволили отвезти дочку. Мы уехали.

Заключительной сцены я не видел, но без труда могу восстановить ее по образцу десятков других, сходных.

Все стихло. Двор стал обычным. Спокойным, благополучным двором, в котором ничего не происходило. На крыльцо не торопясь вышла бабка Лиза.

– Миша! Валя! Чего это собака, вроде, лаяла? Кто-то приходил, что ли?



Глава 10. Так больше нельзя...



Ташкент быстро менялся. Даже я замечал это. После землетрясения к нам приехали бригады строителей из всех союзных республик. Город обрастал строительными лесами. Вздвигались башни подъемных кранов. Их стрелы казались мне похожими на стволы огромных пушек. Вырисовываясь высоко в небе, они поворачивались из стороны в сторону, словно выискивая свою цель где-то далеко, у самого горизонта. А в каждой башне сидел машинист и по знаку рабочего, стоящего внизу, передвигал кран в нужное место. Большой изогнутый крюк подцеплял здоровущую железобетонную плиту, и кран, поигрывая ею, как запеленутым младенцем, поднимал ее на самый верх стройки. Тросы его издали выглядели, как тончайшие нити и казалось, что груз, который они несут, удерживается в воздухе какой-то магической силой. Я мог бы часами глядеть и глядеть на это удивительное зрелище.

Весь город жил стройками. По радио чуть ли не каждый день сообщали об успехах строителей. И, что правда то правда: помощь их была очень ощутима. Советское государство умело показать свою мощь – а она была – но, к сожалению, не тогда, когда требовалась повседневная забота о людях. Мощь обнаруживалась, когда можно было блеснуть, покрасоваться перед всем миром.

Но каких бы успехов ни достигало строительство, какими бы темпами ни велось, оно не могло решить жилищной проблемы, которая в Ташкенте и до землетрясения была очень остра. Так же остра, как и в любом большом городе Советского Союза. А уж теперь, после катастрофы, люди, казалось, только и говорили, только и думали, что о жилье.

На любом предприятии создавалась «живая очередь» из тех, кто остался без крова. У одного из зданий возле Туркменского базара целыми днями толпился народ: там помещалась

комиссия по проверке аварийности квартир, и люди в тревоге и волнении ждали решения своей судьбы. «Аварийщикам» нередко предлагалось уехать из Ташкента, им предоставляли квартиры в других, менее перенаселенных, городах республики и за ее пределами.

Наступило лето, как обычно, жаркое и сухое. А, может быть, еще более знойное, чем всегда. К десяти утра наш двор превращался в пустыню. Замолкшие птицы прятались в листве. Исчезали кошки в прохладе чердаков. Джек, пытаясь спастись от жары в тени своей будки, лежал высунув язык, учащенно дыша. И даже мухи не летали над раскаленным, размягчившимся асфальтом.

Отец плохо переносил жару. Астматикам в сухую погоду обычно легче дышится, а он задыхался. Ослабел, даже не мог ходить. Его снова забрали в больницу.

А так как перед этим отец успел поругаться с бабкой Лизой, началась старая история: мишенью, в которую летели все стрелы, оказалась мама...

– Эй, старгородская! – презрительно окликал ее «интеллигент» дядя Миша. – Снимите-ка себе другую квартиру. Я ваше жилье готов оплачивать.

Мама в ответ только сжимала плечи. Она и сама готова была уехать хоть на край света. Но куда? Как?

В больнице отцу стало полегче. И однажды во время обхода, увидев маму, врачаха, очень довольная, сказала ей:

– Ну, дело пошло на поправку. Можно забирать домой.

Она ожидала, наверно, обычного мамино: «О, как я рада! Спасибо, доктор!» Но мама сказала каким-то не своим, резким, решительным голосом:

– Мне некуда его забирать!

– Как это некуда? – удивилась врачиха.

– У нас аварийная квартира. Мы живем в палатке, во дворе у родителей.

Тут удивился я. В какой это палатке мы живем? К счастью, я не спросил этого.

– Почему же не у родителей? – спросила врачиха.

И мама ответила, теперь уже своим голосом, теперь уже правду:

– Кому он нужен больной? Они от него отказались.

Я поглядел на отца. Он низко опустил голову и не вмешивался в разговор. Да и что он мог сказать? Он знал, что мама права: уезжать надо во что бы то ни стало.

– Хорошо, – помолчав, сказала врачиха. – Вызывайте комиссию. Справку принесите сюда. Будем думать, что делать дальше.

Из больницы мы поехали к Туркменскому базару, и мама подала заявку на инспекцию квартиры.

А потом мы отправились домой, и я все думал, что сейчас увижу палатку, о которой говорила мама. Но палатки во дворе не оказалось.

Я остался поиграть возле летнего душа. Этот большой желтый бак наполняли из шланга, подключенного к водопроводу. Кроме душа, в баке был и кран внизу. Он плохо закрывался, под ним всегда была лужица, очень полезная, по моему мнению: из нее и голуби часто пили воду, и для игры вода могла пригодиться.

Я с удовольствием возился возле лужицы, и вдруг услышал равномерные глухие удары. Бум-м... Бум-мм... Бумм-мм... Они становились все сильнее, слышались все чаще. И звучали они за нашей дверью. В испуге я бросился в дом. Распахнул дверь. Удары – они были теперь очень громкими – доносились из спальни. Я заглянул туда.

Мама, моя мама стояла ногами на кровати и, взмахивая топором, который она держала в обеих руках, раскачиваясь всем телом, колотила им по стене...

Вернее, это была не она, не мама, а кто-то совсем другой. Моя мама всегда была доброй, нежной, тихой. А та, что так яростно била топором по стене, была злой, страшной, опасной. И,

голосом, не похожим на мамин, продолжая неистово рубить стену, взлохмаченная, осыпанная штукатуркой, она твердила, как какое-то заклинание:

– Так больше нельзя... Так больше нельзя... Так больше нельзя...

Штукатурка летела во все стороны. Белая пыль покрыла пол, кровати, окна. Посуда в серванте дребезжала. Снова затикали сломанные настенные часы, словно вспомнив о страшной апрельской ночи. А я стоял, окаменев, у дверного косяка, и тело мое вздрагивало от каждого удара топора.

Запыхавшаяся мама уселась на кровать. Дыхание ее постепенно выравнивалось, искаженное лицо расправилось, снова стало прежним, маминым. Она поглядела на меня почти совсем спокойно и сказала:

– Вот теперь и у нас, сынок, аварийная квартира. Будем жить во дворе в палатке. – И она, устало усмехнувшись, огляделась по сторонам.

По всем углам спальни, не говоря уж об изрубленной стене, зияли трещины.

А со двора давно уже доносились крики. В комнату ворвалась бабушка Лиза. Спальня ее находилась рядом с нашей, за стеной. Удары топора, вероятно и там были достаточно ощутимы. Но, вбежав к нам, бабка просто не поверила своим глазам.

– Иби, нэ мурам, нэ мурам! Чи кари?!⁸ – завопила она.

Подняв топор, мать прошла мимо бабки.

– Хоть теперь избавлюсь от вас!

⁸ Продли мне жизнь (Боже)! Что ты натворила?

Глава 11. Мы переехали!



В один из первых декабрьских дней 1966 года произошло, наконец, то, о чем так долго мечтала мама. Ее волей и ее руками сотворенное чудо: мы уехали из старого дома. Мы вообще уехали из Ташкента, переселились в Чирчик.

Этот город находился всего в 30 километрах от нашего. Отец сам его выбрал: во-первых, недалеко, случись с ним что, его родственники (так он полагал) помогут маме. Во-вторых, он знал, что Чирчик – город новостроек, работу найти будет нетрудно. И, действительно, отец вскоре начал преподавать физкультуру в средней школе № 19, а мама устроилась швеей на трикотажную фабрику «Гунча».

Поселили нас в Юбилейном поселке – так назывался один из микрорайонов Чирчика. У нас была теперь отдельная квартира! Новая, в новом доме. Три комнаты и застекленная терраса. Как и всем, кто жил на первом этаже, нам выделили огородный участок перед окнами у входа в дом. Были в нашем садочке и розы, и вишня, и тал – так в Узбекистане называют тополя.

Впрочем, я не очень-то интересовался садом. Меня захлестнули, заполнили свежие впечатления. На одной площадке с нами поселилась семья греков. Над нами жили украинцы Куликовы. На третьем этаже – крымские татары Зинединовы, а над ними – Ильесовы... Словом, наш подъезд, как и другие, был маленьким интернационалом. Мне это было внове.

Соседи, конечно, быстро перезнакомились. Вскоре начались ежевечерние сборища возле подъездов. Начались пересуды, обмен новостями и, разумеется, сплетни. Главной их любительницей, а также глашатаем, была Дора, немолодая гречанка, жившая на одной площадке с нами. Под вечер, если стояла теплая погода, она непременно выплывала из подъезда.

Грузно усевшись на скамейку (Дора была женщиной дородной), она принималась молотить на маленькой ручной мельничке то кофе, то черный перец. Под жужжание своей мельнички она с упоением болтала со всеми, кто появлялся рядом. У нее был несомненный дар уличного оратора. Ни один из жильцов дома не проходил мимо, каждый останавливался послушать Дору и вовлекался в разговор. Поднимался шум, в окнах и на верандах появлялись любопытные лица. Митинг становился не только многолюдным, но и многоэтажным.

Пожалуй, только моя мама избегала этих сборищ. Обсуждение чужих дел никогда ее не привлекало. А разговоры под окнами с легкой руки Доры постоянно принимали личный характер. И, как я вскоре выяснил, с особенным постоянством обсуждалась личность моего отца. Я сам не раз это слышал, притаившись за открытым окном веранды. Увы, никогда не долетало до моих ушей доброе слово о нем.

В Чирчике у меня быстро появились друзья. Это были братья Куликовы, семилетний Коля и шестилетний Саша из квартиры этажом выше. А братья Зинединовы – Рустем, который уже ходил в первый класс, и шестилетний, как и мы с Сашей, Эдем – жили над Куликовыми. Пятеро пацанов одного возраста и из одного подъезда – что могло быть лучше? Мы сразу нашли общий язык и выяснили, какие игры нам больше всего нравятся. Одной из них, конечно, была «войнушка». Но кроме этой старой игры, знакомой детям всего мира (к несчастью, не только детям), познакомился я здесь и с новой, не менее увлекательной. Называлась она «хлопушка».

Весной, как только в арыках появляется вода, на дне их начинает скапливаться глина. Из нее лепили что-то вроде лепешек. В центре каждой из них проделывалась вмятина с тонким дном. Вот и получалась «хлопушка». Теперь оставалось поднять ее и, дыркой вниз, с силой швырнуть на асфальт. «Пах-х»! Звук был такой, будто выстрелили из пистолета. А если мы пятеро, взяв в руки по две «хлопушки», швыряли их одновременно... Что там пулеметная очередь! Дело в том, что пространство, где мы играли, находилось между стоящими параллельно, метрах в сорока друг от друга, домами. И здесь, естественно, создавался эховый барьер, где звуки раскатывались, подобно грому.

Вряд ли наша стрельба доставляла удовольствие взрослым. Но это нас не волновало. Наоборот. Если кто-нибудь из соседей отваживался отругать нас за какие-то шалости, под его окном немедленно раздавалась канонада, особенно громкая и длительная...

Началось знакомство и с новым городом. Долгое, постепенное.

В отличие от Ташкента, Чирчик был городом совсем юным. Возник он в 1935 году, объединив несколько рабочих поселков, созданных для строительства Чирчикской ГЭС и электрохимкомбината. Но этим комбинатом, первенцем химической промышленности Узбекистана, дело не ограничилось. В Чирчике был построен комбинат тугоплавких металлов, трансформаторный завод, появились обувная и швейная фабрика. К нашему приезду это был крупный индустриальный центр, в нем насчитывалось 25 промышленных предприятий. А на широкой холмистой долине, которая начиналась сразу за городом, нередко раздавался грохот танков, гулкие орудийные раскаты: в танковом училище, самом большом в Узбекистане, шло очередное полевое учение.

Вот в какой любопытный город мы переехали. Вот почему наш подъезд, наш дом да и вообще весь Чирчик был таким многонациональным: прослышав про новый город, где идет большая стройка, где нужны работники самых разных специальностей, сюда съезжались люди даже из других республик.

Главенствовал над городом химический комбинат. Огражденный со всех сторон высоким кирпичным забором с колючей проволокой, он находился неподалеку от въезда в Чирчик со стороны Ташкента. Из высокой его трубы круглые сутки валил дым ядовито-желтого цвета. В безветренные дни он упирался прямо в небо, как толстый, скрученный жгутом, канат. Или скорее, как чудовищная кисть, которая весь небосвод окрашивает своей ядовитой желтизной. И желтизна эта, скапливаясь, образовывала брюхатые, гнойные облака.

Стоило подуть северному ветру, а происходило это очень часто, холмистая долина не защищала город от холодных ветров, как по всему Чирчику разносился едкий неприятный запах. От него першило в горле, слезились глаза. После дождя на листьях и на траве появлялась желтизна. А уж вокруг самого комбината деревья и палисадники были совершенно неестественного оттенка.

Все жители города знали, что заводские выбросы ядовиты, что защиты от них не создано, фильтров на трубе нет. Но я не слышал о каких-либо попытках горожан добиться, чтобы их перестали отравлять. Работники комбината рады были и тому, что их поили молоком. Бесплатно... Об акциях протеста и речи не могло быть. Всевластный комбинат имел стратегическое значение. За день его можно было переключить на выпуск военного сыра.

* * *

Впрочем, если бы не дым, Чирчик был довольно уютным и привлекательным городом. Его разрезала на две части река Чирчик, или, как ее тут попросту называли, канал. Дело в том, что в черте города берега зацементировали, чтобы предупредить эрозию: ведь Чирчик был норовистой горной речкой, которую по весне щедро пополняли водой снега, таявшие на отрогах Тянь-Шаня. Как только начиналось это весеннее половодье, ручьи, потоки, водопады бурно устремлялись вниз, заливая и захватывая все на своем пути. Становясь рекой, потоки эти мчались, как взволнованная мать, потерявшая своего ребенка и в поисках его готовая заглянуть в каждый угол, в каждую щель, преодолевая любые препятствия. Вот почему в городе реке необходимы были зацементированные берега.

Вдоль дорог и тротуаров шумели листвою деревья, благоухали в палисадниках розы, в арыках весело журчала вода.

Но все это я увидел позже, когда подрос. А пока мы еще малыши и путешествуем не дальше своего детского сада или школы.

Наш с Эммой детский сад – он назывался «Буратино» – мало чем отличался от прежнего, ташкентского. И занятия в группах были такие же, и гулять нас выводили во двор с беседками. Правда, не встречались мы на прогулках с нашей любимицей мышкой. Зато во дворе в большой клетке жил беркут, гордая птица. Он презрительно поглядывал на нас, надменно отворачивался, когда мы начинали с ним разговаривать и, кажется, мало обращал внимания на наши попытки накормить его хлебом. Попытки были безуспешными, потому что в плетеной провололочной клетке отверстия были слишком маленькими...

Мама работала на фабрике в две смены. Первая начиналась в восемь утра, и, чтобы не опоздать, мама отводила нас с Эммой в садик очень рано, чуть ли не к шести. Время было зимнее, мы приходили в полной темноте и прогуливались час-полтора возле запертого здания среди снегов. Снега в ту зиму было очень много. В лунные ночи он красиво блестел, отливая серебром. А луна была тоже очень красивая, большая-большая. Казалось, она так близко, что ее можно достать рукой.

Вдвоем нам не было страшно. Но в садик мы часто попадали с промокшими ногами и воспитательницам приходилось переодевать нас.



Глава 12. «Гунча»



С тех пор, как я себя помнил, я знал, что моя мама – швея. Среди первых слов запомнились мне и такие: «норма», «выработка», «план». Произносила их мама сердито. Похожие слова я услышал и в Чирчике: мама и здесь работала на швейной фабрике, которая называлась «Гунча». Впрочем, теперь мама говорила о работе не с таким раздражением, как прежде. Что-то изменилось. Что – я, конечно, не понимал. Рано мне было разбираться в производственных процессах и отношениях. Разобрался я много позже. А детство – это впечатления. И одно из оставшихся в памяти – как однажды мама повела нас с Эммкой к себе на фабрику.

В тот день наш детский сад был закрыт на карантин. Мама с утра была дома, а собираясь на вечернюю смену, сказала: «Не оставаться же вам одним. Лучше уж на фабрике переночуете...»

Мы долго ехали в автобусе. Он тяжело пыхтел и взрывался, поднимаясь на горки. Их было много. Дорога, извиваясь серпантином, шла то вверх, то вниз, а по сторонам от нее то взбирались на горки, то теснились внизу новенькие четырехэтажки. Некоторые из них еще были в строительных лесах. Четвертый микрорайон – так называлась эта часть города – рос и достраивался. Здесь и находилась мамина фабрика.

В широком вестибюле нас охватила прохлада, большая люстра сверкала под потолком, а на стенах было много ярких плакатов. Среди них висела увенчанная красными буквами доска, на которой были чьи-то фотографии. И вдруг на одной из них я увидел маму. Я остановился, схватил ее за рукав: «Мам, что это?» – «Доска почета». Она засмеялась, но лицо у нее было довольное.

Мы подошли к дверям со стеклянной табличкой. Мама одернула Эммкино платице и постучалась. «К директору идем. Поздоровайтесь», – прошептала она.

Директор оказался совсем не страшным, он назвал нас богатырями, но услышав, что мама просит разрешения оставить нас в цехе на ночную смену, замахал руками: «Что ты, Эся, как можно!» Впрочем, увидев мамино расстроенное лицо, крикнул и распорядился: «Посади в углу на тряпках. Подальше от машин, слышишь? И чтобы не бегали!»

Мы поднимались по лестнице, ведущей к цеху, а там, наверху, что-то рокотало и стрекотало все громче и все раскатистее. Казалось, сейчас навстречу нам, сюда на лестницу вылетит что-то стремительное и огромное. Это шумел швейный цех. В несколько рядов он был заставлен швейными машинами, штук по 20–30 в каждом. У меня просто дух захватило, столько их здесь было. Эти педальные зингеровские машинки мне казались просто великолепными. И вот началась смена, и моя мама села за одну из этих замечательных машин...

«Гунча» была трикотажной фабрикой, и шили здесь главным образом трикотажные пиджаки. Шили – это короткое слово. Но включает оно в себя множество операций от раскроя до пришивания пуговиц. Множество коротких, четко размеченных, жестко ограниченных операций, не требующих ни выдумки, ни фантазии, но зато требующих точности и собранности, не допускающих ни малейшего отклонения. Группа, в которой работала мама, пришивала воротники. Эта операция называлась «вточка». Но и она делилась на части. Мама делала исходную вточку. Насадку. Она начинала пришивать воротник на спинке пиджака, в самой середине выреза. И от этого начала, от этой насадки, зависело все: ошибись мама на миллиметр – вся работа будет испорчена. Брак.

К концу ряда подвозили тачку с товаром. Мама хватала из тачки пиджак, воротник. Р-раз – и пиджак подлетает к машине. Р-раз – и он уже перекрутился стремительно в маминых руках, с такой быстротой, что я и цвета его не успел заметить. И как воротник оказался на нужном месте, не увидел... Р-раз – и насадка готова, пиджак перелетает к следующей швее... Стрекочет, стрекочет, стрекочет мамина машинка. Она сидит, склонив голову, чуть раскачиваясь, непрерывно движутся ноги, движутся быстро и точно руки. Она сидит, поглощенная работой, не замечая, кажется, ни гула цеха, ни грохота проезжающих мимо тачек, ни того даже, что мы, ее дети, восседаем в уголке на груде разноцветных обрезков и глядим на нее... Впрочем, за мамой наблюдал я один. Груда ярких, мягких обрезков – это был настоящий клад, которому позавидовала бы любая девчонка! И подумать только, что такое сокровище здесь, на фабрике, считалось просто мусором! Эммка рылась в обрезках, что-то приговаривая, хватала их, крутила, связывала, примеряла. То шарф себе повязывала, то косынку, то сооружала что-то вроде разноцветной одежды Арлекина. Словом, она была при деле.

А я, я не мог оторваться от конвейера. Я глядел, как быстро движутся по нему пиджаки, и все время возвращался взглядом к маминой машине. К ее рукам. И вот что я вскоре заметил: мама работает быстрее других. Вот пиджак перешел к следующей швее, а та еще не закончила предыдущий. Вот кто-то крикнул издали: «Эся, отдохни, перестань тарыхтеть!» Но нет, мама не слышит, не поднимает головы.

Мама была замечательной швеей, виртуозом. Она просто не умела работать плохо. Но не только в этом было дело. На «Гунче», в отличие от ташкентской фабрики, платили по работе. Здесь мамин заработок стал зависеть от ее рук, от ее мастерства. Мамины неустанные руки кормили нас с Эммкой.

Только здесь, в Чирчике, мама почувствовала, что ее труд ценят. Пройдет какое-то время и ее наградят Орденом Трудовой Славы 3-й степени. В городе всего пять человек получают такую награду. И, конечно же, это маму радовало. Наверно, очень радовало. А то, что мамин труд был изнурителен, то, что ее быстрота, собранность, сосредоточенность, требовали огромной затраты сил, нервного напряжения, Господи, да разве она думала когда-нибудь о себе?

Когда на фабрике появлялись ученицы, их приводили к маме. Кто же лучше научит, кто терпеливее покажет – и раз, и два, и десять – как работать? К ней приносили испорченные вещи, и она исправляла их, исправляла с искусством хирурга, успешно делающего сложную операцию безнадежному, казалось бы, больному.

Вероятно, в любом деле настоящий мастер лишь тот, кто кроме мастерства обладает и душевной щедростью.

* * *

... Час шел за часом. Цех рокотал слитно и непрерывно. Эммка давно уже уснула, зарывшись в грудь своих сокровищ. Я тоже стал задремывать, но вздрогнул и проснулся, потому что вдруг наступила тишина. Начался перерыв. Не знаю, была ли на фабрике столовая, но в этом цехе многие работницы перекусывали прямо у своих машин. Включали кипятильники, шуршали пакетами, разворачивая бутерброды. К нам с Эммкой то и дело подбегали женщины, кто с конфетой, кто с печеньем. Добрые усталые лица, косыночки на волосах, фартуки, облепленные нитками... Вот подошла и Шура Черемисина, наша соседка по дому.

– Молодец, что привела, – сказала она маме. – Пусть посмотрят, чем мы тут занимаемся.

– Пашем, – коротко ответила мать. Она сидела возле нас с кусочком нитки на нижней губе.

Ниточка на губе была почти у каждой швеи. Ниточка помогала им сосредоточиться во время шитья. Все при деле: руки, ноги, глаза и даже губы.

Глава 13. «А у нас соседка – гречанка»



– Дети, вставайте! Пора, пора...

Я открыл глаза и сразу зажмурился. В глаза хлынул яркий свет, все еще непривычный после небольшой, темноватой ташкентской спаленки. Два больших окна выходят на задние огороды, в простор, в открытое пространство, за которым вздымаются холмы. Вечером за них уходит солнце. Во второй половине дня оно гостит в нашей спальне, щедро заливая ее своими лучами. Впрочем, мама уже поставила на окна решетки, чтобы мы, заигравшись, через окна не лазали.

Минуту-другую я лежу, любуюсь спальней. Стены здесь нежно-голубые с золотистым накатом из полосатых ромбиков. Смотришь, смотришь на стену – и начинает казаться, что ты в космосе, что тебя окружают звезды, одни звезды... И полами можно полюбоваться – они свежеекрашенные, почти ровные.

Загремело радио. По утрам отец ставит приемник на подоконник в гостиной, или в зале, как мы называем эту комнату, чтобы мы с Эммкой делали зарядку. Пятнадцать минут под музыку. Мы занимаемся с удовольствием, однако успеваем побаловаться и погримасничать.

– Эммка, умеешь так? – спрашиваю я, моргая то одним, то другим глазом. Я хитрец. Я прекрасно знаю, что произойдет дальше. Моргать глазами попеременно она не умеет, хотя уже сколько раз пыталась. – Да не так! Вот смотри, смотри...

Я делаю вид, что пытаюсь помочь Эммке, и она снова принимается учиться моргать, доходит до изнеможения, и даже иногда убегает пожаловаться маме.

Но вот мы заканчиваем. Я торопливо обмываюсь холодной водой, одеваюсь и сажусь за стол.

– Сейчас, сейчас, – приговаривает мама, нарезая салат. – Сейчас подаю. Да, папеш, мне бы на базар сегодня надо съездить.

– Езжай, – невозмутимо отвечает отец.

– А деньги? Моя зарплата потрачена.

– У меня нет! – быстро и резко отвечает отец.

Привычный ответ. Так бывало много раз. И мама, смолчав, повздыхав, бежала к знакомым, к соседям – занимать деньги. До полочки. Своей, разумеется.

* * *

...Когда я теперь вспоминаю отца, когда пытаюсь представить себе, каким он был, я вижу человека, исполняющего как бы две роли. И с печалью думаю: в какой же из них он был самим собой?

Отец, как и его брат Миша, был учителем. Всем известно, что учитель – это эталон. Ему должны подражать, ставить в пример другим. На работе братья такими и были. Они пользовались уважением. Завоевывали его. Завоевывали авторитет. Это нужно было для карьеры... Но дома они были совсем другими, будто сбрасывали личину. Они сами объявляли себя авторитетом, они требовали уважения, не завоевывая его. Они были деспотами.

На работе братья делали карьеру и подчинялись тем правилам, которые этому помогали. Дома такие правила были излишни. Жена, дети обязаны были подчиняться им. Терпеть. Прощать.

Отцу нравилось изображать из себя состоятельного человека. Он не желал экономить. Зачем, например, ездить на автобусе, если можно взять такси? Вообще так приятно посорить деньгами. Потратить их на свои маленькие удовольствия, а не на скучные домашние надобности. Изредка, правда, он покупал нам с Эммкой что-нибудь из одежды, книгу, игрушку. В особо благодушном настроении давал кое-что маме «на базар». Обычно же отвечал, как сегодня: «Денег нет».

Но на этот раз случилось вот что: мама не смолчала. Я услышал ее тихий, напряженный голос:

– Куда же они деваются?

Отец гневно вздернул бровь. Он не привык к таким вопросам. Но за ним последовал еще более непривычный.

– Раз не хочешь давать на расходы, зачем тогда кушаешь? – тем же голосом спросила мама.

Отец ответил не словами. Выскочив из-за стола, он подбежал к плите и опрокинул котел с котлетами на пол.

Хлопнула входная дверь – отец ушел. Мама плакала, закрыв лицо руками. Я сидел оцепенев, только сердце колотилось, будто кто-то молотком стучал в груди.

Так и не поевши, мы отправились в садик.

То, что произошло дальше, мне вроде бы труднее описывать: ведь я только потом узнал от мамы, как все было. Но, должно быть, эти рассказы соединились с детскими впечатлениями, с чувством боли за маму так прочно, что порою мне кажется: в тот день я не в детском саду остался, а отправился с мамой на фабрику. Вот она идет – такая худенькая, бледная, несчастная – и шепчет: «За что, за что?» Как она надеялась, что покинув Короткий Проезд, избавившись от злобы бабки Лизы, заживет нормальной семейной жизнью! Но нет, не произошло этого. Как тень, преследовала ее бабка Лиза. Она и теперь была рядом – в своем сыне.

Вот мама за швейной машинкой. Покачивается в такт ее ритму и, склонив голову, шепчет что-то, словно разговаривает со своей кормилицей. И машинка понимает ее, отвечает, сочувствует. «Р-р-р!» – ужасается мотор. «За-чем? За-чем?» – возмущенно поскрипывает педаль.

«Тык-тык-тык! Тык-тык-тык! – торопится на защиту игла. – Уколю его, не позволю!» И даже пиджак, скользя под иглой, как по льду, послушный и мягкий, старается облегчить мамину душу. Но слезы все капаят и капаят на мягкую ткань.

– Ты что это, Эсь? А? – Швея, что сидела позади, Катя, подошла, обняла за плечи. – Что-то случилось? Дома?

Мама кивнула... Рассказ был короткий, сбивчивый. Но, услышав его, Катя воскликнула:

– Ну-ка, пошли к Соне! Сейчас же, в перерыв...

Соня – так звали председателя фабричного комитета профсоюза – была баба бойкая, из таких, про кого говорят: «Палец в рот не клади». Она не лишена была отзывчивости, и в тех немногих случаях, когда могла помочь работницам, не противореча начальству, действовала решительно, используя всю накопившуюся энергию. Мамина беда как раз и давала ей такую возможность.

– Дуреха ты, Эська! Почему столько молчала? Ну, мы ему... Не хочет жить нормально, разделим квартиру... Педагог – и так себя ведет! Ну, был бы, скажем, алкаш какой-то... Так. Значит, после работы едем к тебе!

Она уже все решила, ей все казалось ясным. А мама стояла тихонько, опустил заплаканные глаза и думала, думала.

Была ли она готова к этой новой битве? Что бы она сделала, не отведи ее подруга-швея к решительной Соне?

Конечно, ощутить, что ты не одна, было очень важно. Может быть, важнее всего. И все же... Все же я думаю теперь, что в кабинете у Сони стояла уже другая Эстер. Не та, что смиренно выносила ругань и побои мужа, оскорбления его родных. Что-то копилось, копилось в ней и прорвалось в тот памятный день, когда она топором крушила стены ненавистного жилища. Первая победа – переезд в Чирчик – придала силы. Может, помогло поверить в себя и уважение на фабрике, и то, что зарабатывать стала побольше? Наверно, так...

Мама подняла глаза:

– Да. Поедем.

И вот мы дома. Мы, потому что мама по дороге домой забрала нас с Эммкой из детского сада. Мы в своей комнате: детям не полагается присутствовать при серьезных разговорах. Но дверь приоткрыта, мне все видно и слышно. Мама и незнакомая тетя – в зале. А где отец? Он в спальне, торопливо одевается. Я волнуюсь ужасно, ведь кое-что я все же понимаю. Что теперь сделает отец? Я вижу, как он, почему-то с топором в руках, направляется, к входной двери и идет в огород. Начинает там рубить какие-то ветки: дела, мол, хозяйство... Но Соня не тот человек, с которым можно играть в такие игры. Выйдя на веранду, она начинает атаку:

– Товарищ Юабов, у вас в доме гости, а вы ушли. Неприлично. Заходите, надо поговорить...

Взрослые сидят за столом. Лицо у отца... Я еще не видел его таким. Бледное лицо. Но это я видел часто. Губы сжаты и перекошены в одну сторону – и это я видел, у него всегда такой рот, когда он начинает злиться, ругаться с бабкой или с мамой. Большой нос, загнутый, как у орла, смешно приближается к губам. И это знакомо. Но вот глаза...

Да, именно глаза так изменили лицо, сделали его незнакомым. Отец пристально глядит на гостью, и в этом взгляде – растерянность, страх.

Соня уже представилась. Она спокойна и собрана. Для нее эта ситуация привычна, в таких историях Соня участвовала уже много, много раз. И указывать, командовать, решать здесь будет она и только она. А отец... Для него все перевернуто. Возможно, эта встреча за столом чем-то напоминает ему школьный педсовет, где он так часто бывает. Но не в такой роли, нет! Там он – орел, налетающий на нерадивых учеников. Здесь орлица – Соня. Она смотрит на отца холодным, просто леденящим взглядом и спрашивает сурово:

– Чем объясните происшедшее?

Отец молчит. Пальцы выбивают дробь по столу.

– Не хотите жить вместе – никто не заставляет, – безжалостно продолжает Соня. – Разделим квартиру. Вам предоставим одну комнату.

Тишина.

– Вы – педагог, не так ли?

Отец кивает. Все та же дробь по столу. На лице – та же гримаса. Нога закинута за ногу.

– Педагог считает, что может бить, унижать. Издеваться над беззащитной женщиной. А директор школы полагает, вероятно, что у него ангелочек работает... Я схожу к нему. Побеседую...

– А у нас... – начинает отец. Видно, он решил что-то ответить... – А у нас соседка гречанка...

Соня с недоумением глядит на него, на маму. При чем тут соседка? Соня не знает, что у отца есть такой прием: когда его прижмут к стенке, сказать какую-то нелепость, сбить с толку, притвориться дурачком, перевести разговор на другую тему. Но Соню с толку не собьешь. Не дождавшись продолжения рассказа о соседке-гречанке, она спокойно напоминает:

– Прошу вас ответить: вы разводиться решили или будете жить нормально?

– У нас и так все нормально, – бормочет отец.

– Бить жену, вываливать обед – что же тут нормального?

Отец снова бормочет что-то невразумительное. Но гостя спокойно и методично наносит удар за ударом, раскалывая педагога из школы № 19 на все более мелкие части.

Отец сидит за столом и пальцами выбивает дробь. Но не за столом он сидит, он свален, он повержен. Соня – опытный боец. Она знает, что таких, как мой отец, самоуверенных, беспощадных к слабым, только так и надо брать – сразу, врасплох. Уложить на обе лопатки.

Последний раз взглянув на отца – презрительно и сурово – Соня поднимается:

– Ну, что же, разговор окончен. Что будет дальше – вам решать...

Наутро родители уже разговаривали друг с другом. Помирились. Отец был спокойным, вежливым, приятным. Всем нам было хорошо. Мама даже улыбалась. Очень было хорошо. Несколько дней.



Глава 14. Первый Звонок



Наступил воскресный вечер. Наконец-то наступил. Но и он длится нескончаемо долго, не желая уступить место долгожданному завтрашнему дню. А ведь именно завтра – первого сентября – произойдет важнейшее событие: я пойду в школу. И от волнения в голове моей творится нечто невообразимое.

Любые события, ломавшие привычное течение жизни, вызывали у меня волнение, похожее на болезнь. Сердце колотилось так, будто поставило себе целью выскочить наружу. Щеки горели огнем. Пальцы на руках независимо от моей воли все время двигались. Но столь сильного волнения я, пожалуй, еще не испытывал.

Одно только помогало мне хоть немного справляться с ним: приятная, неторопливая возня со школьным снаряжением. Со всеми необходимыми для занятий обновками, которые я получил этим летом.

Проверю еще раз, все ли в порядке, решил я, утром будет некогда. Я взял новенькую рубашку и принялся ее рассматривать, держа на вытянутых руках. Хорошая рубашка. Хлопковая, нежно-голубая. Сколько же мы с мамой потратили сил и времени на поиски этой рубашки! Как, впрочем, и всего остального – учебников, тетрадей, портфеля. У нас, как и в других городах, магазины пополнялись товарами очень редко. Все быстро распродалось. И покупатели ждали следующего завоза, неделями карауля нужные им вещи. Они похожи были на огромных дождевых червей, к которым суетливо, как муравьи, подбегали со всех сторон люди с вопросами: «Что сегодня привезли? Что дают?»

Трудно себе представить что-либо более унылое, чем полки магазинов во время этих нескончаемых промежутков! Заходим мы в книжный, а там на полмагазина одни газеты (не

считая брошюр со скучнейшими обложками). А уж у газет названия, словно фамилия одной большой семьи: «Правда», «Комсомольская правда», «Правда Востока»...

Но мы заходили в книжный снова и снова и дождались – нам досталась «Азбука». Новенькая, приятно пахнущая краской, бумагой, клеем, нарядная, с яркими картинками...

С неменьшими трудами и беготней достался портфель. Рассматривать его, любоваться им я мог до бесконечности. Запах – как у настоящего кожаного. Блеск – немыслимый. Скрип – восхитительный... Три отделения – для учебников, для тетрадей, для линеек и пенала. Про замок и говорить не приходится. Он щелкал, как курок пистолета. Ух, берегись!

Любая из вещей, размещавшихся в портфеле, была прекрасна. Особенно белая фаянсовая, с синим ободком по краю чернильница, так называемая невыливайка: ее конусообразное отверстие не давало выплескиваться чернилам, даже если чернильница опрокидывалась.

Перья, уложенные в особое отделение пенала, сверкали, как маленькие зеркала. Как я вскоре убедился, они вели себя очень коварно. Обмакнешь перо и примешься писать, забыв обтереть о краешек чернильницы, и... плюх – клякса! Безобразный темно-синий паук на чистом листке. Ни за что не сотрешь ластиком, только дырку сделаешь. Но зато как замечательно скрипели эти коварные перья!

Аккуратнейшим образом уложив в портфель все мои богатства, я улегся, наконец, в постель, но нетерпение и беспокойство долго не давали мне заснуть.

* * *

Ранним утром, солнечным и безоблачным, мы с мамой подходили к школьному зданию.

Школу № 24 возвели как раз к нашему переезду в Чирчик. Находилась она рядом с моим детским садом «Буратино». Разделял их лишь невысокий забор и пешеходная тропинка, которую я теперь, выражаясь символически, переходил. Кстати говоря, переходил преждевременно: в школу принимали с семи лет, а мне было шесть. Но мой отец разработал наступательную операцию, чтобы добиться моего досрочного поступления в школу, и выиграл.

Четырехэтажное школьное здание сверкало белизной, на фоне белых стен особенно яркими казались плакаты и транспаранты. А на самом видном месте, над дверями, Ленин на большом портрете протирал руку, неустанно призывая входящих учиться, учиться и учиться. Площадь перед входом полна была детьми и взрослыми, празднично одетыми, с цветами в руках. Я обрадовался, увидев знакомые лица: здесь были мои детсадовские товарищи: худощавый высокий Женька Гааг, грузный Сергей Жильцов и даже двойняшки Доронины, Ада и Оксана. Стало немного спокойнее на душе. Но тут же раздался гулкий, разносимый эхом пугающий голос: «Уважаемые родители... Вас и ваших детей... Сегодня...» Я не сразу понял, что произносит эти слова стоящий у микрофона высокий человек в темном костюме. Это был директор школы Владимир Петрович Объедков. Говорил он долго, я успокоился и отвлекся. Потом у высокого появились ножницы в руках, и он перерезал розовую ленту, которая почему-то была протянута поперек входа в вестибюль. И сразу грянул оркестр, загремели сверкающие медью трубы, и всех нас пригласили в школу. Коридор первого этажа, по которому повели наш класс, был таким длинным, что, казалось, ему конца не будет. Возле каждой двери я думал с замиранием сердца: «Вот эта». Но дверь нашего класса была последней...

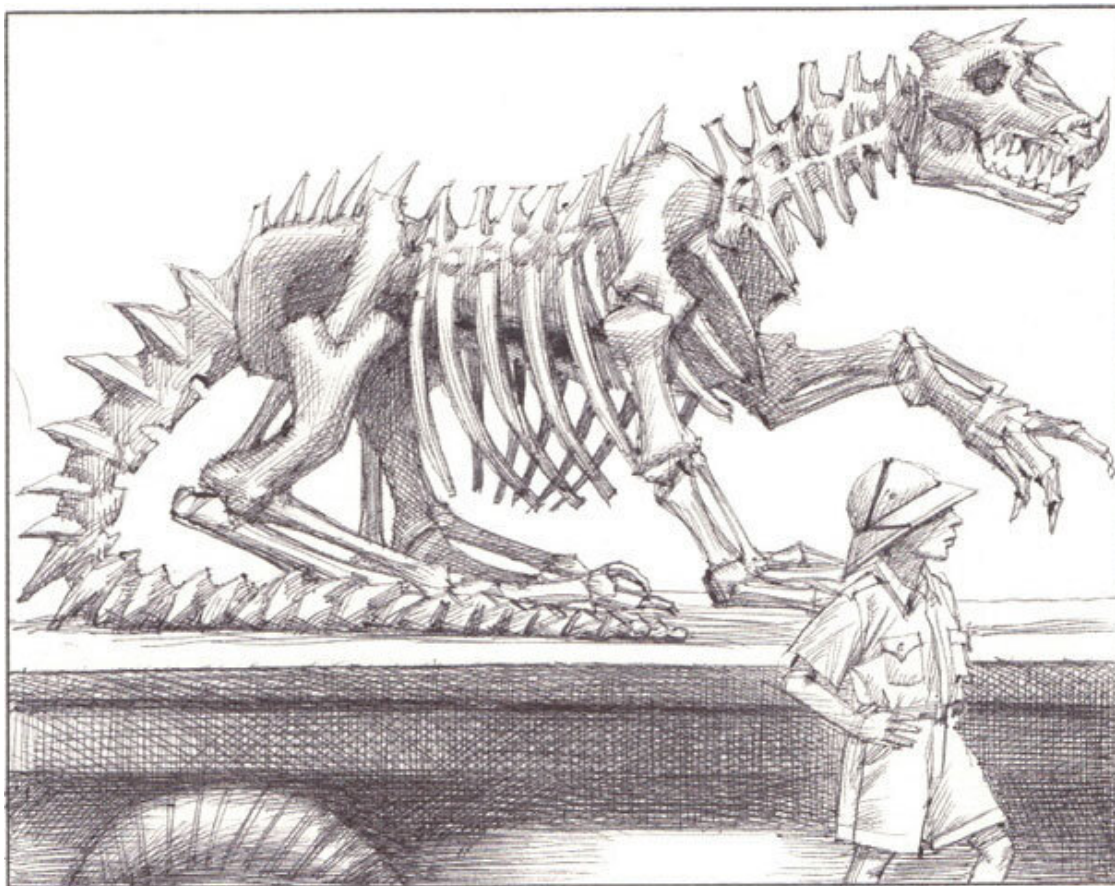
Нас рассадили. Я оказался в среднем ряду на первой парте, прямо напротив учительского стола. Родители скромно стояли у стен. Мне приходилось все время очень быстро вертеть головой, чтобы не упустить из виду маму и не отворачиваться надолго от учительницы. Но и за собственной партой было мне на кого посмотреть. Моей соседкой оказалась Лара, Лариса Сарбаш, тайная моя детсадовская любовь, худенькая, высокая, со светлыми волосами и замечательными веснушками, рассыпанными вокруг носика. Застенчивая Лара не поворачивалась в мою сторону, она сидела уставившись на доску так пристально, будто это был киноэкран.

Но я-то на нее все время поглядывал и любовался двумя ее косичками с большими белыми бантами, такими пышными, что очень хотелось схватить их, сжать...

У нашей учительницы Екатерины Ивановны, невысокой и полной, с короткими каштановыми волосами, был певучий, нежный голос и добрый взгляд. Она рассказала, что будет учить нас три года, что в первой четверти мы начнем изучать арифметику, чтение и письмо, что в школу надо приносить... Тут она повернулась к доске, взяла в руки мел, и я впервые в жизни услышал волшебные звуки, которые потом стали такими привычными: «Тук-тук-тук... Ш-ш-ш...Тук-тук... Ш-ш-ш-ш»... И на черной доске одна за другой с непостижимой быстротой начали появляться белые, ровные, красивые знаки – буквы... Печатные я уже понимал, письменные же выглядели таинственными.

Как неожиданно, как громко зазвенел за дверью звонок! Голосистый, четкий, дробный. И он был для нас особенным – не звонок, а мелодичная трель какой-то незнакомой птицы. Мне даже казалось, что птица эта сидела вместе с нами в классе, спрятавшись где-то среди парт, и теперь, когда окончился наш первый школьный день, запела громко и радостно, чтобы сказать: «Тюр-люр-лю! Поздравляю! Вот вы и школьники! А теперь бегите домой! Тюр-люр-лю!»

Глава 15. Землянка



Возвращаясь из школы, мы заметили клубы черного дыма. Они валили оттуда, где строился дом номер четырнадцать, соседний с нашим.

Мы с Колькой Куликовым переглянулись. Все было понятно без слов: на стройке коптели смолу для крыши. Сегодня будет во что поиграть. В индейцев, например...

Занятия в школе заканчивались в два часа дня. В это время школа, как и утром, как и на больших переменах, походила на многолюдный базар перед закрытием. Казалось, что покупатели (ученики), раскупив за бесценок весь товар, ринулись внезапно с территории базара (школы), как бы опасаясь, что опомнившиеся продавцы (учителя) кинутся их останавливать... Крики, визг, смех, толчея... И вот уже никого нет! Только уставшие грустные учителя (продавцы) плетутся по опустевшим коридорам и по одному собираются в учительской, чтобы обсудить, что же теперь делать: продавать-то уже нечего и некому...

За школьным забором у дороги группами собирались мальчишки и девчонки, которым было по пути домой. Бурно обсуждались события дня, интересные происшествя. Для нас, первоклашек, пока еще представляли интерес и учителя.

– Моя учихала очень строгая, совсем строгая, – сетовал Витька Смирнов.

– Это Марья-то Григорьевна? – удивился Витька Шалгин. – Нисколько она не строгая. Я-то знаю, мы соседи. Тебе бы мою! У-у какая, не шелохнуться!

– А у меня добрая. Екатерина Ивановна, – похвастался я.

– «Толстуха», что ли? – спросил Женька Жильцов из военных домов.

С начала занятий прошло всего несколько недель, но мы уже знали или сами придумали прозвище каждого учителя. «Молекулой» прозвали грузную физичку, «Кошеем Бессмерт-

ным» – лысоватого учителя рисования, «Запорожцем» – медлительного, упитанного преподавателя автодела... Екатерина Ивановна имела даже два прозвища: «Толстуха» и «Колобок». Потому что, расхаживая по классу, она как бы медленно перекатывалась с ноги на ногу... Может, нашу фантазию пробуждала потребность украсить школьные будни? Мы проводили таким образом учебный день отчасти словно бы в какой-то сказке, героев которой сами придумали.

...Болтая и смеясь, мы шли домой. Конечно же, мы не шли, как все, по асфальтированной дороге. Как все – это не для нас. Наперерез, наискосок, через пыльное поле, через заросший бурьяном огород!

Мы не думали, зачем и почему. Нас тянуло к играм, а главное в любой игре – преодоление. Каждый из нас считал: ему по силам все. Нет никаких преград. И совершенно неважно, что об этом знали только мы сами.

Вот идет Витька Смирнов, будущий летчик-испытатель. В голове у него – чистое небо, быстрый самолет и высота, самая большая... А Саша – будущий строитель. Он так и говорил: «Буду строить дома до самых облаков». Мы сомневались: «Так нет же таких высоких кранов». А Сашка только усмехался: «Мне вообще краны не нужны. Для чего вертолеты?»

А я мечтал быть археологом, а заодно и палеонтологом, и где-то в Африке выкопать скелет самого большого динозавра.

Много месяцев я с моими коллегами буду рыться в песках Сахары, по косточкам выкапывая это чудовище. Я стану черным, как папуас... Я соберу динозавра и привезу его в Чирчик. И проеду по главным улицам города под звон фанфар на огромной машине. На пьедестале будет возвышаться мой динозавр, а рядом – я... Городские власти решат: динозавр останется в городе навсегда. Установят его, конечно же, возле моего дома, на игровой площадке... Вот будут завидовать мальчишки из других домов!

Один за другим доходили до дома и прощались с нами мальчишки. Дошли и мы с Колькой.

– Выходи к пяти, – напомнил он уже в подъезде. Я мотнул головой.

* * *

Стройку дома номер четырнадцать будто специально для нас затеяли: в любой момент можно увидеть что-нибудь поразительно интересное. Вот подъезжает самосвал, нагруженный железобетонными плитами. И тут же по рельсовой дорожке к нему подкатывает кран. Мощной рукой подхватив из кузова плиту, он играючи перебрасывает ее на строящийся этаж. А там уже ждут, там уже готовы. Закинув вверх головы, мы глядим, как плита будто сама собой, будто без всяких усилий стоящих наверху людей (их движения кажутся такими легкими) становится на свое место.

Витька Смирнов с завистью следит за оператором, манипулирующим стрелой крана.

– Эх-х, – вздыхает он, – я бы на его месте сразу весь самосвал наверх закинул!

– Ты чо, кран не выдержит, перевернется!

Разгорается спор, каждый отстаивает свое мнение, потому что любой из нас мечтает стать оператором, испытать силу этой машины. Конечно, хочется сделать это немедленно, – но на худой конец мы планируем, закончив восьмой класс, поступить в известную нам спецшколу, где дают такую профессию. А пока каждый воображает себя хозяином крана, трогает и перемещает все эти прекрасные рычаги, кнопки, лампочки. Двинул рычаг – и стрела повернулась, нажал педаль – и великан мягко покати по рельсам, тронул кнопку – и подхвачен груз. А ты сидишь в башне и наслаждаешься своим всемогуществом. Ты один в высоте, вокруг только птицы и синее небо. Внизу копошатся люди в касках, снуют взад-вперед, как муравьи в поис-

ках пищи. Вот окружили ползущую гусеницу – самосвал. Облепили со всех сторон, ждут. Кого ждут? Тебя! Ты подплываешь на своем громадном кране – и набрасываешься на эту гусеницу...

– Упадет!... Не-е, не упадет! – Это мы, замирая от страха и восторга, следим за бригадой, работающей на самом верху, за строителем, который уселся покурить на краю стены. Он сидит, покачивая ногами, и, уставившись куда-то на горизонт, дымит сигаретой. Что он видит оттуда? Неужели ему не страшно?

Трудно сказать, что интереснее – наблюдать за бурной дневной жизнью стройки или пробираться на строительную площадку после пяти, когда кончается рабочая смена.

Строителям только кажется, что без них стройка отдыхает. На самом же деле с пяти часов и до позднего вечера она живет таинственной ночной жизнью. Мальчишки со всей округи как тараканы сбегаются на строительную площадку. Темно, сторожей и сторожевых собак нет, мы становимся здесь полновластными хозяевами.

Площадка засыпана галькой. Эта галька заменяет нам гранаты, смола – маскировочную краску, горки песка превращаются в укрытия, кабина крана – в смотровую башню. Надо ли объяснять, что именно здесь и происходят настоящие «войнушки»? Впрочем, порой мы придумывали и другие игры или просто бродили, наслаждаясь тем, что тайно владеем этим замечательным местом.

Позже вечером, когда становилось совсем темно, сюда часто приходили и старшеклассники. Мы слышали их голоса, видели, то там, то здесь мерцающие огоньки сигарет.

...В этот вечер наша компания толпилась у больших глыб смолы. Солнце размягчило их за день, и мы торопились отодрать куски побольше для жвачки. Особых рецептов ее приготовления у нас не было, смолу просто жевали, и через какое-то время она размягчалась во рту, становилась эластичнее. Правда, некоторые знатоки и гурманы прибавляли к смоле парафин – такая жвачка, бесспорно, была и мягче и приятнее на вкус... Все усердно работали челюстями, глыбы смолы походили уже на каких-то допотопных, громадных ежей.

Послышались чьи-то голоса. К нам приближались два рослых пацана.

– Эй, Сипа, это ты, что ли, с малышкой? Ну, ты даешь! – проорал один из них.

Сипа – пятиклассник Сергей Черемисин из нашего дома – смутился. Он, действительно, наслаждался жвачкой в нашем обществе. Теперь он уже стыдился такой компании. Но Олег – один из подошедших парней – проявил великодушие. «Пошли с нами!» – сказал он, взмахнув зажатой в руке бутылкой... Мыслимое ли дело отказываться от такого приглашения? Да тут еще Сергей поручился за нас: «Не продадут». И мы поплелись за взрослыми ребятами...

У края стройплощадки была выкопана довольно глубокая яма. Отличное убежище для пяти-шести человек.

– Тащите фанеру, – приказал нам Олег. И мы наперегонки бросились разыскивать куски фанеры побольше и почище.

– Хорошо, – одобрил нас новый вожак. – Теперь накрывайте яму... Молодцы! А теперь – в землянку... Стоп, стоп... Один лишний... – Олег обвел нас глазами и кивком подозвал меня. – Ты будешь пока на страже. Потом заменим...

Я и рта не успел раскрыть (да и не посмел бы), а Олег уже протягивал мне какую-то деревяшку:

– Вот твой автомат. Будь зорек...

И вся компания нырнула в землянку.

А я принялся расхаживать вокруг, со всей серьезностью охраняя землянку от внезапного нападения.

Время шло. Уже солнце багровым шаром покатилося за дальние холмы и почти исчезло. Уже начали расплываться в полумгле силуэты деревьев... Стало холодать. А оттуда, из землянки, доносился до меня смех. Там веселились, там что-то вкусное ели, там было тепло.

Наконец я решил. Наклонившись к отверстию, я прокричал:

– Эй, уже долго! Пора на замену!

– Карауль! Ты на посту! – услышал я голос Олега. А потом его же голос сказал потише, верно, приятелю, сидевшему рядом: – На что еще еврей годен? Только в сторожа!

И оттуда, снизу, донесся смех. Это был какой-то тошнотворно противный, отвратительный смех. Он был так далеко и в то же время так близко. Он звенел в моих ушах, все усиливаясь, усиливаясь, усиливаясь. Вот он стал до боли раздирать мои барабанные перепонки. И все время в этом смехе мне слышалось: «Еврей... Еврей... Еврей...»

Мне было только шесть, но я знал, что это такое. Я слышал слово «еврей» в разговорах взрослых. Слышал о неприязни к евреям в нашей стране, «дружной и сплоченной». Но это были разговоры о чем-то отвлеченном, о том, что было где-то там, вне меня и моей жизни, о том, что меня не касалось, не причиняло ни вреда, ни боли.

До сегодняшнего дня. До этой вот минуты. До этой вот землянки.

Бешено заколотилось сердце. Заколело в груди. Я швырнул свою деревяшку-автомат и бросился прочь.

А смех мчался за мной...



Глава 16. Собакоеды



Я возвращался из школы веселый, подпрыгивая и напевая. Громко, чтобы прохожие слышали меня. Пусть догадываются, какая у меня радость! Сегодня я получил первую отметку и, представьте себе, пятерку! По поведению. Быть отличником вовсе не трудно, размышлял я. Веди себя прилично – и все тут.

Моя радость была небескорытна. Отец обещал: летом я поеду в Кисловодск, если окончу первый класс хотя бы «хорошистом». Тогда это слово было в ходу, так говорили и ученики, и учителя, и родители. Я, конечно, мечтал об этой поездке. И вот теперь первый шаг был сделан. В мыслях своих я уже совершил некий прыжок – Кисловодск, казалось мне, уже обеспечен. В самом деле, до лета оставалось каких-то два... три... восемь месяцев – и я там! Я уже видел перед собой горы, лагерь среди них, озеро, лодки и прочие прелести.

Перенесясь в Кисловодск, я и не заметил, как очутился возле дома. У подъезда было полно мальчишек. Сидя на корточках, они окружили Леду, нашу дворовую собаку. Рыжая, похожая на колли дворняжка была общая любимица. Ее умные глаза всегда сияли, днем – как два солнечных шарика, ночью – как мерцающие звезды. Лохматый приподнятый хвост вилял из стороны в сторону. Леда была очень дружелюбна, ей нравилось наше общество. Как и нам – ее... Мы не скупились на ласки. Гладили ее мордочку, целовали в холодный черный нос. Приходилось, правда, с опаской поглядывать по сторонам: не увидели бы родители. Нам постоянно твердили, что целовать дворовую собаку, гладить, даже просто играть с Ледой – негигиенично. Спорить со старшими бессмысленно, надо просто делать вид, что ты кое о чем забыл. К тому же, наши родители были нелогичны: многие из них очень любили Леду, кормили ее и все такое...

Недавно наши отношения с Ледой стали еще теснее: она оценилась. Не в первый раз. Леда рожала почти каждый год. Но для пацанов это всегда становилось событием. Произошло оно в подвале, там и оставались щенки. Леда редко отлучалась от своего потомства, но кое-кто из ребят навещал собачье семейство. То ходили полюбоваться щенками, то вспоминали, что надо покормить Леду... Впрочем, на это отваживались ребята постарше и то немногие: в подвале было страшно. Сегодня Леда сама вышла к подъезду – но не оттого, что соскучилась без нас. Под ее похудевшим животом болтались пустые соски. Ей нужно было подкрепиться, чтобы накормить щенят. Леде теперь то и дело хотелось есть. Но, в отличие от других собак, она не бродила в поисках еды среди мусорных баков. Отбросами Леда брезговала. Она была дворовая собака, так сказать, член общества – и помнила об этом. Она понимала, что состоит на довольствии дома № 15...

При каждом доме имела своя собака. Но наша была лучше всех. Мы гордились тем, что Леда всегда вычесана, без колючек в хвосте, с лоснящейся шерстью. Она и ходила по особому, не как другие дворняжки – бочком, торопливой рысью, с опаской оглядываясь по сторонам, поджав хвост. Нет, Леда была светской дамой, она никогда не торопилась, шла прямо и смело. Иногда позволяла себе пройти вразвалочку, повиливая задом... Если бы кобели могли свистеть, то при виде кокетливой красавицы они непременно присвистнули бы: «Ох и хороша!»

Да, Леда была хороша... Наверно, поэтому и щенилась каждый год.

...Мы с удовольствием смотрели, как Леда глотает кусочки колбасы, и вдруг слышали пронзительный вопль: «Собакоеды!»

С этим воплем подскочил к подъезду взлохмаченный и красный Витька Смирнов – он жил в соседнем доме, – и помчался дальше. Видимо, оповещать своих. Действительно, не прошло и минуты, как из-за угла выехал небольшой грузовик. Отвратительный грузовик, мы его ненавидели и боялись, как и тех, кто в нем находился. Это и были «собакоеды» – команда, которая вылавливала бездомных собак, а именно такой считалась наша Леда... Коммунальные дома не имели права держать дворовых собак. Жилыцы не могли даже протестовать против этих разбойничьих облав. Вот в чем была беда. И единственными защитниками животных оставались мы, мальчишки.

Живодеров, которые сидели в грузовике, мы знали очень хорошо, они частенько сюда наведывались. «Партизанская война» с ними велась из года в год.

За рулем сидел парень с безразличным тупым выражением на круглой физиономии. Он был невысок и неуклюже передвигался на растопыренных ногах – вот-вот споткнется на ровном месте и шлепнется. Его напарник, небритый, заросший щетиной и с вечной жеваной сигаретой во рту мужик, почему-то всегда носил сапоги.

Мы не раз со злобой наблюдали, как действуют «собакоеды». Углядев очередную жертву, они выскакивали из машины и пытались накинуть на шею собаке что-то вроде лассо, сделанного из толстой, скрученной жгутом, проволоки. Петля поблескивала смертью. Особенно страшно поблескивала, попав на шею собаке...

Вряд ли кого из жителей дома радовало это зрелище. Разве что были среди них тайные садисты. «Собакоедов» ругали, даже пытались воздействовать на их совесть.

– Чему детей-то учите? Животных убивать? – горестно вопрошал кто-нибудь со своей веранды.

– Мылом, небось, моешься! – отвечал обычно небритый.

– А что будешь говорить, когда она сына твоего тяпнет? – вопрошал тупомордый.

Говорили, что из собак варят мыло... Мальчишки считали, что это нелепость. Неужели нельзя придумать какой-нибудь другой способ? Ведь вон сколько всего напридумано! Небось и мыло теперь делают из какой-нибудь химии. А если правда, что из собак, тогда мыло и в руки-то брать противно! Моешь руки и думаешь: это наша Леда пенится...

Кроме того, у нас, у детей, было серьезное подозрение, вернее даже уверенность: собачники отлавливают животных, чтобы полакомиться мясом... Потому-то мы и звали их «собакоедами»!

– А что? Очень даже просто, – обсуждали мы причины этого «собакоедства». – Мяса на базаре часто нет, вот они и ловят бедных собак. Обдерут шкуру, нарубят мясо на куски... И сами наедятся, и на базар отнесут. Поди, отличи от бараньего!

Подогреваемая такими соображениями, наша ненависть к «собакоедам» становилась беспредельной. В отличие от взрослых, все мы, а особенно те, кто был постарше, не ограничивались перебранкой с врагами, а придумывали разнообразные способы защиты и изощренные планы мести. Пока собачники охотились, мальчишки прокалывали шины грузовика или вставляли спички в зажигание. Однажды удалось даже открыть кузов и выпустить на волю чуть ли не дюжину собак. А потом, укрывшись в подъездах, мы корчились от смеха, глядя, как бесятся «собакоеды».

Но, конечно, первой задачей при их появлении была оборона. Планы ее разрабатывались загодя и были хорошо продуманы. Сегодняшняя тактика была ясна: скрыться в подвале, в том самом, где Леда выкармливала щенков.

Отступали мы, как спартанцы, выстроившись клином, прикрываясь портфелями, и с Ледой посередке. Благополучно добрались до третьего подъезда, где был один из входов в подвал. Забираться сюда с Ледой было не так страшно, как самим. Но все-таки... Многие из нас, включая меня, боялись подвала. Это темное помещение тянулось под домом во всю его длину и освещалось лишь небольшими окошками-проемами в задней стене. К тому же потолок был низок, идти приходилось пригнувшись.

Мрак и заброшенность делали подвал отличным убежищем для разного сброда. Кто только там иногда не ночевал, а порой и не жил! То какой-нибудь запойный пьяница – до отрезвления, то бездомный бродяга – на месяц-другой, пока не выгонят. Да ладно, если бы только это. Старшеклассники туманно поговаривали о какой-то нечистой силе, о привидениях...

– Стою я там как-то, – рассказывал Сипа, – покуриваю, значит. Вдруг оглядываюсь, а «оно» на меня смотрит, глаза горят. И мычит, будто поранено... Как я убежал, не знаю!

– Бухой бездомник! – смеялись его друзья. – Просил опохмелиться, а ты со страху не понял. Ну, даешь!

Смеяться-то смеялись, но мороз продирает по коже.

* * *

Леда бежала впереди, а мы шли гуськом и все оглядывались, хотя стояла кромешная тьма. Особенно страшно было последнему. Фонарей не припасли – большой промах, – а в подвале и при фонарях трудно идти не споткнувшись.

Чего здесь только не было: и обломки труб, и куски цемента, и бутылки, и всяческий мусор, не говоря уж о засохших человеческих экскрементах. Но мы шли, и шли, и шли. Искрящиеся глаза Леды указывали нам путь. Она-то хорошо знала дорогу.

Щенята, все семь, лежали на тряпках у одного из проемов. Здесь можно было их разглядеть. Малюсенькие, они, повизгивая, тыкались друг в друга мокрыми носиками. Ну и обрадовалась эта компания, почуя мать! Отчаянно толкаясь, все поползли к ее брюху. Ползти-то было недалеко: Леда, как дошла, обнюхав для порядка щенков, тут же улеглась на бок.

Мы притихли... Слышно было только попискивание и чмоканье.

Вдруг чуть поодаль у стены вспыхнула спичка. Кто-то вскрикнул. Но перепугаться как следует мы не успели: пламя осветило лицо Олега.

– От кого сбежали, пацаны? – спросил он.

– От собачников! – И мы наперебой принялись рассказывать о недавнем сражении.

Леда, была участницей разговора: она крутилась у ног Олега, повизгивала, виляла хвостом. Леда любила Олега. Не раз он, защищая ее, лез в драку. Собаки распознают друзей лучше, чем некоторые люди.

– Давно их будку спалить надо было, – дослушав наш рассказ о «собакоедах», пробурчал Олег.

Идею бурно поддержали. Но «будку» палить не пришлось.

Прощаясь в этот вечер с Ледой и щенятами, мы и представить себе не могли, что видим нашу собаку в последний раз. Но случилось именно так.

На другой день Леда исчезла. Как это произошло, что случилось – никто не видел. И собачники вроде больше не приезжали.

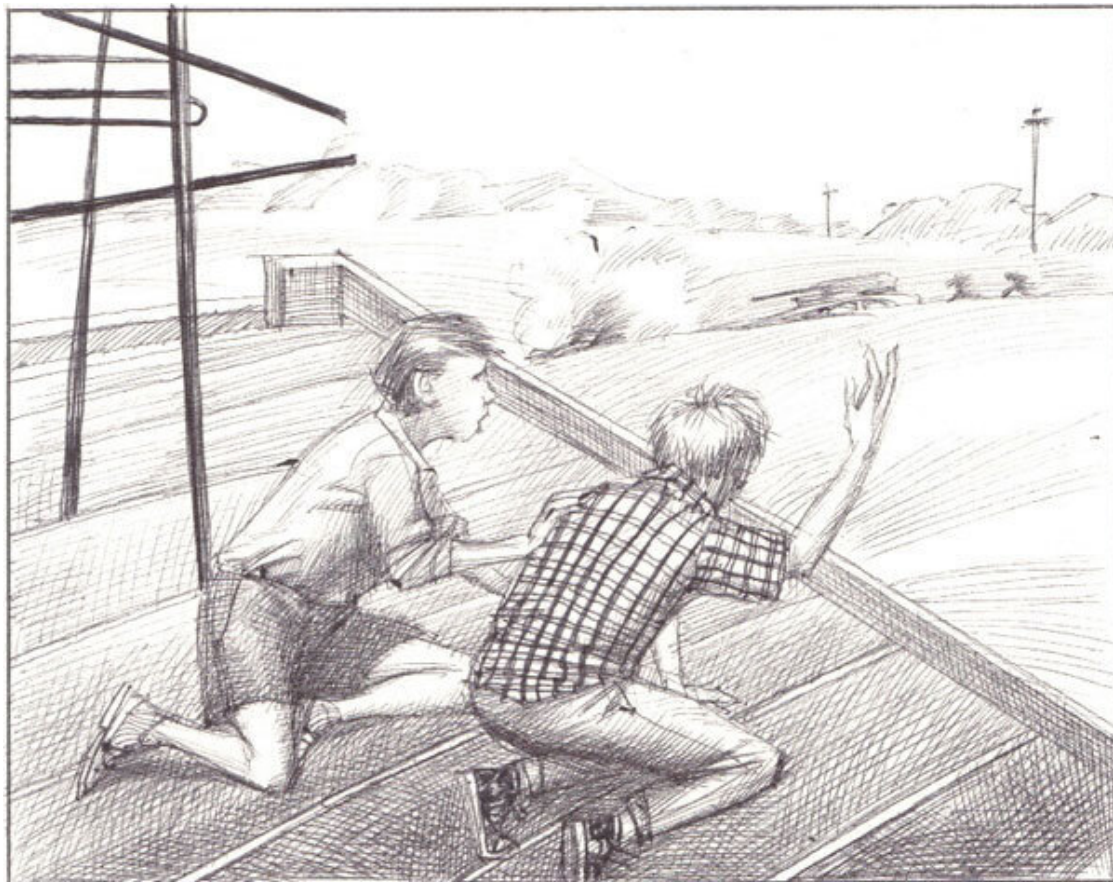
Мы обегали все дворы по соседству, мы расспрашивали всех – и детей и взрослых, но Леда никому не попадалась на глаза.

Двоих ее щенят удалось отдать добрым людям, пятерых пришлось утопить. Не нам, конечно, пришлось, а взрослым.

Другой дворняжки мы так и не завели. Как-то не получилось. Да и Леде мы не хотели изменять: все надеялись, что вернется.



Глава 17. Глоток жизни



Грохотали и лязгали гусеницы танков, гулко бухали выстрелы, дымились стволы пушек. На полигоне танкового училища шло очередное ученье. Стоя на крыше нашего дома, мы с волнением, восторгом, завистью наблюдали «бой»...

Ну и повезло нам с жильем! Уж так повезло, что мальчишки всего города могли позавидовать. За нашим домом начинался огромный пустырь. Простираясь на несколько километров, он уходил к холмам. На краю пустыря находилось танковое училище, а неподалеку от него полигон, на котором и проводились сейчас танковые ученья... Ну? Теперь понятно, почему нам повезло? Ведь с крыши нашего дома мы, как с трибуны стадиона, могли наблюдать это замечательное зрелище, которое было для нас слаще любого кинофильма о войне. Да разве мы способны были просто наблюдать? Мы ведь не на крыше находились, а на холме, с которого, как представители Генштаба, руководили боем!

– Ку-уда? Куда прешь? Наперерез давай, наперерез! – отчаянно орет Витька Смирнов, пристально всматриваясь вдаль через бинокль, который ему заменяют пальцы, сомкнутые в кольцо.

До нас доносятся приглушенные автоматные выстрелы... Потом одиночные из пистолетов...

– Калашников... Трассировка пошла... – Это Колька Куликов, сидя с закрытыми глазами, объясняет происходящее. О, он большой знаток! Обхватив колени, напрягая слух до рези в ушах, Колька покачивается в ритм стрельбе и кажется, что он сидит где-то в концертном зале, наслаждаясь классической музыкой... – Три... Четыре... Пять... – Подсчитывает он. – Сейчас закончат...

Прозвучал шестой выстрел из нагана. Наступила недолгая тишина. И на полигоне, и у нас на крыше. Но в нашем воображении события продолжались. Вот лежит офицер в траншее. Он ранен, он ведет неравный бой. Патроны в пистолете кончились. Сейчас его окружают – и...

– Конеч, – выдохнул Колька. Он уже не раскачивается, глаза у него страдающие. – Конеч, убит!

И все же мы к чему-то прислушиваемся, ждем... А вдруг... Так и есть! «Пых-пых-пых!» – звучат вдали одиночные выстрелы.

– Нет, не убит! – с торжеством говорит Витька. – Обойму сменял просто. Вечно ты, Колька...

Да, конечно, мы – представители Генштаба на холме. Но как нам хотелось быть сейчас там, на поле! Сидеть за рычагами боевой машины и мчаться вперед, преследуя врага! Вперед, только вперед!

Сладостные мечты...

* * *

Стать военным мечтали многие мальчишки в городе. В Чирчике они составляли касту, с нашей точки зрения высокую, были полны достоинств как внутренних, так и внешних. Они умели щегольнуть выправкой. Бывало, идет офицер в безукоризненно отглаженном кителе, сверкают звездочки на погонах, прямые плечи, грудь колесом, пружинисто и ритмично шагают ноги – будто он марш в строю отбивает... Знает, знает, конечно, что блестящие детские (а, может, и девичьи) глаза с восторгом следят за ним. Но взгляд у него строгий, устремленный вдаль. Никого решительно не замечает! Кроме, конечно, старшего по званию, которому четко и красиво отдает честь...

Неплохо было и дружить с сыном военного. Ведь у такого мальчика жизнь была куда интереснее нашей! Папа нет-нет да и берет его с собой в училище, и он может там подходить к танкам, трогать их. Или даже подержать в руках автомат!

Ученье подошло к концу. Танки один за другим, развернув башни в сторону холмов, возвращались на свои стоянки. Собрались расходиться и мы.

Крыша нашего дома – плоская, с небольшим скатом. У крыши ни перил, ни бортиков, подходить к самому краю решались немногие храбрецы. Они умели свесить кабель телевизора или сбить опасные для прохожих сосульки. А у меня при одной мысли об этом начинали дрожать коленки.

Мы собирались уже спускаться с крыши, как из дверки входной башенки вышли двое Опариных: Вовка – мой ровесник, и второй постарше – Гена. Их отец был военным, и старший Опарин уже решил, что после школы пойдет в военное училище.

– Вы тут зачем? – спросил он удивленно и даже сердито. – А ну, брысь вниз!

– А листья уже подсохли, подсохли! – крикнул Женька Андреев и первым юркнул в дверь...

Для нас крыша была наблюдательным пунктом. Для старших ребят она служила как бы производственной площадкой: здесь на нитках, подвешенных к антеннам, сушились аккуратно свернутые из листьев вишневых деревьев самодельные сигареты. Нередко в укромном уголке сушилась и конопля, тайком выращенная где-нибудь за гаражом. Неужели же Генка думал, что мы, младшие, об этом не знаем? И почему они, старшие, пропускают ученья – такие увлекательные зрелища? Мы долго обсуждали это, прежде чем разошлись по квартирам.

Отец, хрипло дыша, сидел на кровати. На него опять навалился тяжелый приступ астмы. Он ослабел до того, что даже не мог покинуть «бетонный гроб» – так он называл квартиру, – чтобы посидеть на скамеечке у подъезда. Чуть слышным голосом он подозвал меня.

– Помнишь, где больница? Сходи за кислородом... – и протянул мне брезентовую кислородную подушку с дыхательным шлангом. – Я звонил... Доктор тебя ждет.

До больницы можно было доехать на автобусе, но я решил, что пешком быстрее. По пути с досадой вспомнил, что вход на больничную территорию находится на самом дальнем ее конце. Словом, путешествовал я не менее получаса. Но, наконец, добрался и, разыскав дежурного врача, молча протянул ему подушку. Врач глядел на меня поверх очков в великом удивлении.

– Ты чей? – спросил он. – Откуда у тебя эта подушка?

– Папа дал, чтобы вы наполнили...

– Какой еще папа?

– С поселка Юбилейного, – ответил я, уже испуганно.

Ведь отец сказал мне: «Доктор тебя ждет». А этот не ждет нисколько. Вдруг это совсем не тот врач и он не сменит подушку?

– Так это твой отец звонил час назад? – догадался, наконец, доктор. – Да, он сказал – придет сын... А я подумал – взрослый сын... Сколько же тебе, сынок, лет?

– Шесть, – ответил я, не подозревая, что мы почти повторяем диалог из поэмы Некрасова. Доктор помолчал, покашлял.

– Мамка, наверно, на работе, да? А папа... У меня, понимаешь, сейчас машины нет... Сестра, – вдруг закричал он, – наполните поскорее! Но не до конца...

Зашипел в трубке кислород. Доктор присел на корточки и передал мне подушку.

– Держи... Ты же не куришь, правда? – он потрепал меня по макушке. – Неси осторожнее! Помни – это папке твоему глоток жизни.

Я схватил подушку и изо всех сил помчался домой.

Глава 18. Чубчики



Класс обсуждал ужасную новость. Ренат Хабиев искалечил руку. Три пальца оторваны, два оставшихся изуродованы...

Вчера, после занятий, Ренат и несколько старшеклассников пробрались на полигон. Незачем объяснять, что собирали они гильзы от патронов. Ренату повезло: ему попался боевой, неразорвавшийся патрон. Очень ценная находка: из патрона можно было извлечь капсулу, а капсула – это... Ну, сами понимаете! Вернувшись, Ренат тотчас занялся делом. Не в доме, конечно, а во дворе.

– Он как раз капсулу от гильзы отсоединял циркулем, – рассказывал взволнованным слушателям Женька Жильцов. – И тут как рванет... Прямо в руке!

Рослый Женька постоянно ошивался возле пятиклассников и всегда знал новости.

Ребята долго молчали. Видимо, почти каждый представил себе, какую ужасную боль испытал Ренат. На многих лицах даже появилась гримаса страдания. Тимур Тимиршаев устался на свою раскрытую ладонь, морщась поджал три пальца...

– Хотя левая, и то хорошо, – прервал молчание Сергей Булгаков.

Он был в одной компании с Жильцовым. В школе они особыми успехами не отличались, разве что надо было поколотить кого-то или «предупредить»... А Ренат – он озорником не был и в эту компанию попал невзначай. Ренат был из бедной и многодетной узбекской семьи, проживавшей не в новостройке, а в поселке, в глинобитном домике. В школе тихо сидел на последней парте и не принадлежал к числу тех, кто поднимает руку, желая блеснуть знаниями у доски.

В класс вошла Екатерина Ивановна. Мы разбежались по местам.

Поставив портфель у стола, учительница долго расхаживала по классу. Расхаживала молча, не глядя на нас. На ее лице, круглом и добродушном, не было обычной улыбки, а было такое грустное выражение, что всем нам стало совсем уж не по себе.

– Ну что же, первый «б», – вымолвила она, остановившись, – ну что же, отличились, наконец? Кто вчера был с Ренатом на полигоне?

Класс, разумеется, молчал. Если кто-то и был на полигоне, что он за дурак сообщать об этом? А если кто знал, с кем ходил Ренат, друзей выдавать нельзя, это железно!

Напрасно Екатерина Ивановна пристально и строго поглядывала на Жильцова, Булгакова, Гаага. Они, как и все, молчали.

– Как же таких шалунов приняли в октябрыты? – укорила нас Екатерина Ивановна.

Действительно, мы уже недели две ходили с октябратскими звездочками на груди и очень этим гордились. Но разве же запрещено в октябратских правилах играть в «войнушку» и припасать патроны для боевых действий? Несчастье, произошедшее с Ренатом, конечно же, испугало всех. Но в то же время он казался теперь героем, пострадавшим на войне.

Нет, упрёки Екатерины Ивановны не пробудили раскаяния. Класс молчал...

Поругав нас еще немного, Екатерина Ивановна сообщила, наконец, нечто стоящее:

– Завтра после занятий пойдем в больницу к Ренату. Кто сможет?

Руки поднялись, словно лес. И класс сразу загудел, немоты как не бывало...

Домой мы, как всегда, шли гурьбой. Фамилия Хабиева не сходила с уст. О да, его, конечно, жалели. Но в сторону полигона мы поглядывали вовсе не с чувством страха. Полигон стал еще более «боевым». И желанным.

Вот мы дошли до четырнадцатого дома, до бывшей стройки то есть. Она уже завершилась. А как нам не хватало строительной площадки! Будто отняли что-то, что составляло главную прелесть жизни. Сколько было здесь приключений! А новый дом... Ну, что дом? Он выглядел, как огромный свеженький плакат: в белых рамах сверкают отмытые стекла, блестят свежевыкрашенные темно-красные двери подъездов. На лестницах вкусно пахнет побелкой. По ступеням топают, втаскивая багаж, радостные новоселы.

Если нас что и привлекало в новом доме, так это возможность новых знакомств, приобретения новых друзей. А еще – новая парикмахерская, открытая в торце здания.

Сюда-то мы и заглянули сегодня. Колька вспомнил, что завуч сделал ему строгое замечание: оброс, мол, вид у тебя неряшливый. Мы с Эдемом решили пойти за компанию.

Просторная, светлая парикмахерская – она занимала угол здания – была обставлена скромно: всего два кресла и три стула для ожидающих. На тумбочке жужжал вентилятор с резиновыми лопастями, по радио звучала негромкая музыка. Оба кресла были заняты клиентами. Мы уселись на стулья и сразу же превратились в зрителей, приглашенных на интереснейший спектакль. Актеры, то есть парикмахеры, были, как врачи, в белых халатах. Тот, что постарше – он несомненно играл главную роль – ловко орудовал то машинкой, то ножницами. Руки его так и мелькали: вверх, вниз, вправо, влево... Возле кресла он крутился, как фигурист на катке. Толстый живот не позволял ему плотно придвигаться к креслу, он работал, смешно вытянув руки. Может быть, поэтому казалось, что мастер стрижет наощупь, не глядя. Вот-вот срежет клиенту ухо, думал я. Срежет и даже не заметит! Засыплет пудрой. А потом второе отрежет и тоже запудрит. И отпустит клиента. А тот встанет с кресла – и тоже ничего не заметит! Ведь симметрия не нарушилась... Он даже не поймет, что уже оглох (я думал, что именно так происходит, когда отрезают уши), а только мотнет головой – спасибо, мол, хорошо постриг, ничего не торчит... И уйдет...

Второй артист – парикмахер, то есть, – был молодой и не такой шустрый. Видно, еще новичок. Он не торопился и, несколько раз щелкнув ножницами, отступал на пару шагов, внимательно разглядывая голову клиента.

Главный мастер окончил первым. Кресло освободилось. Мастер поглядел на нас и сделал приглашающий жест: прошу, мол... Мы переглянулись. Почему-то стало страшно. Мы вцепились руками в стулья. Будто нам не в кресло к парикмахеру садиться, а ложиться на операционный стол. А доктор, то есть, парикмахер, застыл в ожидающей позе: «Ну-с, кто первый решится?»

Первым оказался я, нисколько того не желая. Просто я сидел посередке, а Колька и Эдэм совершенно неожиданно и коварно столкнули меня со стула... И это – друзья! Но делать нечего, я шагнул вперед, уселся в кресло. И пока парикмахер обматывал меня белой простыней, я мрачно представлял себе, как по ней потечет кровь. А из зеркала на меня глядел испуганный, но довольно симпатичный мальчишка с аккуратной прической, вовсе не обросший. В глазах его была мольба: «Не надо, это ошибка, не того посадили!»

– Как вас постричь, молодой человек? – со снисходительной вежливостью спросил мастер. – Наверно, под «чубчик»?

Я молча кивнул головой. Выбор был ограничен: «чубчик», «полубокс» или «молодежная». До последней стрижки я еще не дорос. «Полубокс» не любил: на моей голове он выглядел, как меховая шапочка на преждевременно облысевшем ребенке. Оставался только «чубчик»...

Застучали ножницы, зажужжала машинка, а я все больше сжимался и ежился, чувствуя, как толстый живот парикмахера трется о мои руки. Скорее бы он закончил! Хватит! Вот уже и знаменитый чубчик спустился мне на лоб... Да, кажется, все. Парикмахер взглянул в зеркало, повертел мою голову... Уф, сейчас отпустит! Но нет – он снова схватил машинку и принялся оголять мой затылок. «В-в-жж, в-вжж!» – машинка рычала как автомобиль, когда он поднимается в гору. Мне казалось, я сейчас оглохну! А Профессор Парикмахерских Дел продолжал пытаться меня. Он так свирепо вдавливал машинку в мой затылок, будто стремился пробурить его. Может, уже и пробурит? А теперь – скребет. Как лопатой по асфальту.

Я покрылся испариной, щеки пылали, уши горели. В зеркале я увидел друзей за своей спиной – они тряслись от беззвучного хохота, вцепившись в сидения стульев.

И вдруг – тишина. Я вздохнул, глубоко и счастливо. Все. И тут же дернулся, как под током, от нестерпимого жжения: мастер щедро протер одеколоном мой оголенный, ободраный затылок...

Я встал, обалдело потряс головой. В зеркале передо мной качнулся вправо-влево бильярдный шар – правда, был на нем приклеен зачем-то чубчик и еще маленький, как островок в океане, клочок волос на макушке. Но уши были целы – они теперь стали значительно заметнее, тем более, что все еще горели.

– Нравится? – приятно улыбаясь, спросил пузатый мастер. Я мотнул головой. Скажешь, что нет – еще потащит обратно в кресло. Уж лучше я отдохну, посижу спокойно, полюбуюсь спектаклем. Ведь настала очередь моих друзей!

После молчаливой борьбы – Колька подталкивал Эдэма, Эдэм – Кольку – кресло мастера пришлось все же занять Кольке. А Эдэм рванул к новичку, который как раз освободился.

– Полубокс, пожалуйста, – попросил Коля. Ему уже было совсем не смешно, он вспоминал мои муки.

– Полубокс не пойдет, – ответил мастер. – У тебя же был чубчик раньше...

Колька растерялся и, как всегда в таких случаях, скосив губы влево вниз начал бубнить что-то непонятное.

– Что? Чубчик? – С готовностью отозвался пузатый. – Вот и хорошо! – И тут же защелкали ножницы, Колька даже ахнуть не успел.

Теперь мне было весело. Теперь и меня распирало от смеха. Вот вцепилась в Колькин затылок машинка-истребитель. Как голодная собака, вгрызалась в его светлые волосы, прокладывая себе широкую дорогу... Ага, а теперь скребет, как лопата! Я со злорадством глядел то на Колькин затылок, то в зеркало, где отражалось его красное, как помидор, лицо. Время от

времени поглядывал я и на Эдэма, дела которого обстояли нисколько не лучше: чубчик уже вырисовывался на его лбу.

...К своему дому шли три пацана. Шли, почесывая бритые затылки. Шли молча, но думая об одном: как сегодня вечером во дворе, а завтра утром в школе будут веселиться мальчишки, придумывая им клички, бесконечно повторяя слово «чубчик» и отбивая на их головах традиционные «почины». Что будет еще – кто же знает?

Но одно они знали твердо: что в эту новую парикмахерскую больше никогда не пойдут.



Глава 19. Наш дом злословит, смеётся, плачет...



Скамейка возле нашего подъезда была как бы залом постоянно действующей сессии суда, где обсуждение любой сплетни превращалось в многочасовой судебный процесс.

Но сегодня, подойдя к подъезду, я заметил кое-что непривычное: взрослых было больше, чем обычно, никто не сидел на скамейке, все стояли. И шептались. И лица у всех были очень печальные. Из подъезда вынырнул Сашка Куликов.

– Ты чо-о? – протянул он, увидев, что я с удивлением разглядываю сборище. – Ты не слышал? Ильяс утонул!

Ильяс... Да я же только сегодня... Нет, не сегодня. Сегодня я его не видел в школе... И во дворе – тоже.

Ильяс жил в нашем подъезде на четвертом этаже. Учился уже в пятом классе. Мы, пацаны, очень уважали его – и не потому, что он был старше. Все мальчишки уважали невысокого узкоглазого Ильяса. Мало кто мог соперничать с ним, когда во дворе играли в футбол – он был ловким, быстрым, вертлявым. Но своими победами не хвастался. Вообще никогда ничем не хвастался. И был очень справедливым. За это его особенно любили. Сколько раз он прекращал споры и даже драки, к тому же еще и мирил ребят, чтобы они не расходились, затаив зло или обиду...

Ильяс... Как же это случилось?

Сашка слышал, будто Ильяс гулял с другом Петей возле канала, поскользнулся, упал на цементный борт и, наверно, сознание потерял: упал с борта в воду и не вынырнул. Не выплыл...

Мы подошли послушать, о чем говорят взрослые.

Несчастье случилось вчера днем, в воскресенье. Родители Ильясa забеспокоились лишь поздно вечером: сына все не было и не было. А дружок его – бывают же такие жалкие трусы – испугался, ничего никому не рассказал. И только когда родители Ильясa позвонили, стали расспрашивать, тут уж он не выдержал. Признался. Надеялся, мол, что Ильяс пошутил: выплыл ниже по течению и убежал домой, а узнавать боялся... Мы с Сашкой возмущались: ну и трус, нет, просто подлец! Сам Ильяс ни за что бы так не поступил!

Мы долго обсуждали это трагическое событие.

В большом доме то и дело случается что-нибудь, что привлекает всеобщее внимание. Наш подъезд так же, как и весь дом, как и весь микрорайон, а по-узбекски – махалля, жил от события к событию. Количество людей, вовлеченных в водоворот случившегося, зависело лишь от одного: от масштаба происшедшего.

Очередные загулы и выходки пьяниц были событием, так сказать, локальным, подъездным. Пьяниц было так много, вели они себя, за редким исключением, так предсказуемо и однообразно, что это особого интереса не возбуждало. Уж кто-кто, а пьяный непременно попадался вам на глаза каждый день – в автобусе, в кинотеатре, на скамейке возле подъезда, под скамейкой, в сухом арыке, где, вероятно, было особенно уютно отсыпаться...

– Васильич опять наლაкался, – оповещала одна соседка другую. – Бедную Веронику так отдубасил...

– Дуреха! Давно пора милицию вызвать. Он уж с каких пор в вытрезвилке не бывал...

Собственно, больше говорить было не о чем: все это обсуждалось не один раз.

Событиями похлеще, привлекавшими внимание всего дома, были скандалы или драки. Происходили они не так уж и редко, но неизменно вызывали интерес. Новость разносилась мгновенно и горячо обсуждалась возле каждого подъезда.

– Эся, Шура! – Толстая Дора энергично махала свободной от молотки рукой, зазывая мою маму и ее фабричную подружку. – Слышали, да? Как, еще не слышали? – И под неумолкающий стрекот молотки она сообщала: – Вовка Опарин разбил стекло у Васильева... Какая была драка!.. Да нет, между отцами! Морды раскровянили друг другу!

Стоило посмотреть на Дору, когда она рассказывала о подобном происшествии. Ее зрачки, увеличенные толстыми стеклами очков, расширялись до неестественных размеров, а глаза готовы были, казалось, выскочить из орбит и наперегонки побежать к месту драки. Она забывала моргать, она будто бы даже и не дышала. Ее толстое тело как бы превращалось в надутую кислородную подушку, чтобы не тратить драгоценное время на вдохи и выдохи, а только говорить, говорить, говорить...

Событием, гораздо более значимым, собиравшим вместе жителей и соседних домов, и всей махалли была чья-либо смерть.

Похороны в поселке Юбилейном происходили довольно часто. Они всегда выливались на улицу, превращались в процессию, когда молчаливую, а когда и оглашаемую воплями оплакивающих ушедшего женщин. Каким бы печальным сам по себе ни был этот факт, для нас, пацанов, похороны были большим развлечением – и насмотришься, и наслушаешься, и вообще где, кроме парадов, увидишь такое скопище людей!

Как это ни странно, самую глубокую печаль, смешанную с раскаянием, вызвала у меня и у моих друзей смерть «Хмыря» – человека, который меньше других мог претендовать на уважение махалли.

«Хмырь» – это прозвище произносилось гораздо чаще, чем его имя Анатолий, – мужик лет сорока пяти, проживал в одном из домов неподалеку. Это был опустившийся пьяница, которого мы редко видели трезвым. Правда, в отличие от других алкоголиков, Хмырь не буянил, не крыл матом нас, пацанов. Идет себе, бывало, покачиваясь, зигзагами, по нашей улице, а когда больше идти не в силах, мирно укладывается спать на одной из скамеек у подъезда. Подложит руки под голову, согнет ноги в коленках – и похрапывает, как на мягкой постели...

Может, никто бы его и не трогал, но... уж больно от него воняло. Не просто как от обычного алкаша, а как от целой заплесневевшей бочки протухших помидор. Запах мгновенно распространился вокруг скамейки, залетал в окна, проникал в комнаты.

– Убирайся! – кричали с балконов разгневанные жилыцы, изнемогая от мерзкого запаха. – Эй, Хмырь, кати отсюда!

– Его и пушка не разбудит! – откликались другие балконы.

– Опять с женой поцапался! – добавляла Дора. У нее всегда имелась свежая информация.

– От такой стервы не только напьешься, с ней ни одна собака не ужилась бы... – Это еще одна соседка давала краткую, но точную характеристику жене Хмыря, крикливой, как целый базар, Марье... – Пусть уж поспит, бедняга, потерпим уж...

А виновник торжества, лежа на скамейке, улыбался во сне и мирно посапывал. Возможно, среди его пьяных сонных мыслей была и такая: «замечательные у меня соседи, понимающие. Жалеют меня, несчастного мужика».

Увы, забывал дядя Толик – так мы, пацаны, звали его иногда, – что у этих «понимающих» соседей имеются дети, совсем уж не такие замечательные и понимающие. Наоборот, способные на выходки жестокие и непредсказуемые.

Так и случилось, когда Хмырь на свою беду заснул однажды на скамейке у подъезда, где жили Опарины. Именно в тот час, когда из подъезда во двор вышли братья Опарины, а мимо шла компания ребят, в том числе и мы с Рустэмом. И, конечно же, все мы окружили скамейку, где похрапывал Хмырь. Все же зрелище, хотя и с запашком...

– Нашел, где вонять! – злобно сказал Генка Опарин. Он-то уж никогда не упускал случая проявить свою доблесть и прочие качества будущего офицера. – Ну подожди, сейчас ты у нас попрыгаешь... Пацаны, сделаем ему «велосипед»... У кого есть бумага? Бегом за бумагой! – командовал он, а сам уже доставал из кармана спички.

Младший его братишка то ли по возрасту, то ли по натуре был помягче и пожалостливее. Он попытался предотвратить неизбежное.

– Ну, вставайте, дядя Хмырек! Ну, пожалуйста! – пискляво просил он, а сам и тряс, и тербил несчастного пропойцу.

– Отвали, «Красный Крест!» – отпихивал братишку Генка. – Жалеешь эту падаль гнилую... – И сноровисто, опыт уже имелся, приступил к делу.

Оглядевшись, не видит ли кто из окошек или с улицы, Генка стянул с Хмыря истоптанные туфли. Носков под ними, естественно, не было, торчали грязные, распухшие пальцы. А кто-то из мальчишек уже торопливо рвал газетный лист на длинные полоски и скручивал их жгутиками. Генка собственноручно заложил эти жгутики между пестрыми пальцами Хмыря. Ступни его стали похожи на два растрепанных веника... Чиркнула спичка – и веники превратились в свечки с лиловатыми венчиками бледного на дневном свете пламени...

Что произошло дальше, я видел уже из подъезда, куда все мы спрятались (а я – заблаговременно, так как был послабее духом). Бедняга Хмырь, проснувшись от боли, со стоном скатился со скамейки... Сейчас побежит, так думали мы, с ужасом и восторгом выглядывая в щелку двери. Сейчас побежит, не понимая со сна, что случилось, почему горят его пальцы – и ноги его при этом паническом бегстве будут походить на бешено крутящиеся колеса велосипеда с горящими спицами... Именно по этой причине среди нас, мальчишек, операция, которую я описал, носила название «велосипед».

Да, мы неплохо изучили эту операцию – как ни стыдно в этом признаваться, – на несчастных кошках. Но Хмырь оказался более сообразительным, чем кошки. Он нагнулся, одну за другой выхватил горящие «велосипедные спицы», пошевелил обожженными пальцами и, оглянувшись вокруг, подозрительно уставился на подъезд. Его огненно-красные щеки и багровый нос в сочетании с красными же выпученными глазами создавали такую устрашающую картину, что мы не выдержали.

– Тикайте! – первым заорал рослый Гена, и мы пулей рванули из подъезда. Впрочем, «тикайте!» мы слышали уже на ходу, ведь страх – великий вдохновитель. Он и из хромого сделает спринтера.

Я бежал к помойкам. Я не бежал, а летел. За спиной я слышал топот и прерывистое дыхание... Сейчас догонит... Что из того, что я не участвовал в злом озорстве, а только глядел и посмеивался? Он-то не знает!

– Я больше не буду, не буду, – твердил я про себя, уже чувствуя себя виноватым не меньше, чем Гена Опарин.

Так добежал я до помоек, оглянувшись – а за мной никого! Это был мой топот, мое дыхание!

Бешено, так, что в ушах отдавало, колотилось сердце. Щеки горели. Лицо, волосы, спина – все было мокрое от пота. Но не успел я отдышаться, как снова услышал топот. Теперь к помойкам бежал Рустэм, а за ним действительно гнался Хмырь. Бежал грузно, но быстро, не виляя, будто и не пил. Все было именно так, как я представлял себе во время бегства!

Я юркнул за баки. Мне было видно, как Рустик у арыка взял резко влево, как Хмырь свернул за ним, как Рустик с ходу перепрыгнул через арык – и как дядя Толик, не рассчитав шагов, с разгону плюхнулся в воду...

Я охнул. Узкий арык... Грузный Хмырь небось расшибся... Но нет, вот он вылезает, весь мокрый...

О погоне уже и речи быть не могло, но и о смехе – тоже. Нас всех будто обдало водою.

Странное это чувство – угрызения совести. У взрослых оно иногда срабатывает вовремя, предупреждая тот или иной поступок, не слишком порядочный. Происходит своего рода мгновенный анализ, взвешиваются все «за» и «против». У детей же, насколько я знаю, все происходит иначе. Совесть, раскаяние, начинают мучить уже «после того».

Так случилось и с нами.

Мокрый Хмырь, растерянно оглядываясь, постоял у арыка – и поплелся домой.

Молчаливо разошлись по домам и мы. Да, нам всем, даже Генке Опарину, было как-то не по себе.

* * *

Так вот этот самый Хмырь, иначе говоря, дядя Толик, внезапно скончался. Случилось это примерно через год после того, как мы так жестоко пошутили над ним. Конечно, мы время от времени встречали Хмыря, но старались обходить его стороной. И вот однажды, как обычно, возле подъезда, услышал я, что Хмырь умер... По какой причине – не знаю, хотя предполагаемые обстоятельства его смерти горячо обсуждались жителями нашего и соседних домов.

Дядя Толик был русским, а у русских, как известно, похороны самые пышные: музыка, цветы и все такое прочее. Не то что, например, у татар или евреев: закутали тело и понесли себе тихонько на кладбище... Нет, нам, мальчишкам – да и взрослым, наверно, тоже – гораздо интереснее было хоронить русских!

Похорон дяди Толика мы ожидали с волнением, но и с некоторым страхом. Умерший человек – он еще живой в вашей памяти (если, конечно, вы его знали), – и в то же время застывшее лицо в гробу и какое-то жуткое, болезненное, сосущее чувство где-то между грудью и желудком напоминают вам: это уже не он лежит, его уже нет... Как постичь эту страшную загадку?

Похороны происходили не с утра, а после того, как окончились занятия в школе. Был солнечный осенний денек. Всей нашей компанией, оживленно переговариваясь, отправились мы к дому, где жил дядя Толик. Идти было недалеко – минут пятнадцать всего ходу. И как раз мимо того угла нашего дома, где мы издевались над Хмырем. Вот арык, а вот и мусорные баки... Эх, зря мы это сделали, зря! Такого безобидного алкоголика больше и не найти... Все

мы переглянулись и замолчали. Но ненадолго, ведь разговор шел очень интересный: отчего умер дядя Толик.

– Он, говорят, уксусом отравился, – сообщил одну из версий мой одноклассник и кореш Женька Андреев. – Нарочно...

– Во загинаешь! – возмутился Олег. – Не нарочно, а просто на водку не хватило!

– Да не-е, – вмешался Витка Смирнов. – Хмырь отравил себя нарочно, то есть – у-мышлен-но! Из-за жены... Можете не сомневаться! Из-за нее. И вот, представляете, бухаешь эту гадость... – тут Витка даже приостановился и сморщился, вообразив себя пьющим уксус, – бухаешь, а тебя, живого, прожигает насквозь! Но ты продолжаешь пить и говоришь себе: «Я докажу ей, кто я такой! Докажу!»

Мы замолкли, живо вообразив ужасающую картину гибели Хмыря. Он представился нам в новом, героическом свете...

За разговорами мы и не заметили, как дошли. Дом дяди Толика был неразличимо похож на наш, за ним тоже простиралось открытое пространство, вдали видны были холмы. Но у здешних мальчишек было одно преимущество: неподалеку находился тир. Не привозной, не фургон, а настоящий военный тир, открытый, большой – в половину футбольного поля, метров на пять углубленный в землю. Даже до нас во время учебной стрельбы танкистов из ручного оружия доносились звуки выстрелов, а уж мальчишкам из этого дома удавалось иногда и увидеть стрельбы своими глазами.

К нашему приходу у подъезда уже собралась большая толпа, пестрящая яркими женскими косынками. Вот-вот должны были вынести покойника.

Возле подъезда слышались рыдания. На скамейке сидела полная женщина в темном платье, с распущенными волосами и распухшим, залитым слезами лицом. Она раскачивалась из стороны в сторону и время от времени восклицала: «На кого же ты меня оставил, родимый!»

Очевидно, это и была та самая Марья, жена дяди Толика. У нас, мальчишек, она не вызвала никакого сочувствия. Похожа на бабу-ягу, – решили мы. Похудеть бы ей немножко – и полное сходство. Такая же растрепанная и противная, ей бы еще метлу в руки... Даже ступа не нужна. Прямо со скамейки может взлетать...

Вокруг Марьи суетились женщины, поддерживали за плечи, пытались утешить. Но рыдания и выкрики продолжались. «О-о-о-й, да как же я одна теперь жить бу-у-ду?»

Женька Андреев вздернул плечи.

– Да, уж теперь не на кого будет орать...

– Такого мужика угробила, – закивали мы, окончательно облагородив Хмыря в своем воображении. Правда, Рустэм вдруг вспомнил об одном небольшом недостатке дяди Толика и испуганно шепнул нам:

– Ой, ребята, а как же его будут хоронить? Ведь он... воняет...

Мы переглянулись, вообразив себе, что вот сейчас вынесут гроб с телом – и поплывет запах, тот самый, всем нам знакомый.

– Вообще-то ведь покойников моют, – вспомнил Женька. – Ничего, авось обойдется.

Народу тем временем собралось очень много. Пацаны, особенно те, кто пришел, как и мы, без родителей, так и шныряли в толпе. Их никто не замечал, уж слишком все заняты были захватывающе интересными разговорами. До нас то и дело доносилось: «Уксус»... «Отравился»... «Спьяну»... В толпе, варилась сейчас духовная пища для дальнейшего долгого-долгого смакования и переваривания. И завтра, и послезавтра, и неделю спустя жителям нашей махалли будет ради чего жить! На скамейках, в беседках, за партией домино, на автобусных остановках люди будут говорить об одном и том же. Смерть дяди Толика будет обсуждаться, обрастая подробностями и вымыслами, превращаясь в легенду, почти в миф...

* * *

С веток дуба, куда мы с друзьями предусмотрительно успели забраться, открывалась широкая панорама. Колышущееся море голов, пестрые платки, кепки, лысины, тюбетейки, вихры пацанов, косички девчонок... Негромкое гудение голосов, временами покрывавшее причитания Марьи у подъезда...

– Выносят! – крикнул Генка Опарин.

Толпа замерла. Из подъезда вынесли крышку гроба и почти сразу в открытом гробу на плечах четырех мужчин выплыл дядя Толик. Гроб поставили на табуретки.

Вопли усилились. Теперь уже причитала не только Марья – чуть ли не все женщины почему-то присоединились к ее воплям. Марья кинулась к гробу обнимать мужа, за ней кинулась еще одна, другая, третья. И все они рыдали прямо в уши покойника... Мы переглянулись. Что же, все они так уж любили дядю Толика? Где ж тогда они раньше-то были, когда он пьяный на скамейках валялся?

Но вот, наконец, одна за другой стали они отходить от гроба, кто-то оттащил голосащую Марью, и мужчины, потоптавшись, приладившись, подняли и понесли на плечах гроб. Толпа колыхнулась, потолкалась, выровнялась и двинулась следом. Теперь это уже была процессия. Она медленно двигалась посреди улицы, поровнялась с нашим деревом. Пригнувшись, замерев на ветках, мы не отрываясь глядели на гроб. Вот он уже совсем под нами. Дядя Толик... Кто бы теперь назвал его Хмырем? Такой нарядный, в белой рубашке и темном костюме. Светлые волосы, – не взлохмаченные и слипшиеся, а аккуратно зачесанные на бок, поблескивают на солнце. Хорошо выбритое лицо застыло в легкой улыбке... Будто он сам все это проделал – вымылся, выбрился, причесался, переоделся, а потом посмотрел в зеркало и, довольный своим новым обликом, спокойно лег и умер.

Когда гроб пронесли мимо, мы посыпались с веток и рванули вперед, обгоняя толпу. Мы знали, что на центральной улице, на Юбилейной, похороны будут сопровождаться музыкой. Вот они, музыканты! Уже ждут... И как только голова процессии поровнялась с ними, грянул похоронный марш.

Это был момент, которого мы особенно ждали.

Обе стороны улицы запружены народом, люди выглядывают из окон, из дверей, с балконов. Будто кого-то очень важного хоронят, члена правительства, например. Удивительно, с какой быстротой сбегаются люди на звуки оркестра. Как солдаты – на призыв горна. Но глядят-то они и на оркестр, и на гроб, и на плачущих родственников, и на всю процессию – а, значит, и на тебя! И ты, чтобы привлечь к себе внимание, идешь, как близкий родственник, с опущенной, будто отяжелевшей от горя головой. Но глазами, конечно, постреливаешь то вправо, то влево, наслаждаешься происходящим.

Вот так ты шагаешь – медленно, мелкими шажками, вместе со всей толпой. И кажется, что это огромная гусеница ползет. Голова ее – гроб с покойником. Пестрая голова, украшенная цветами. А венки по бокам гроба – разноцветные глаза гусеницы. Тело ее – толпа – колышется, колеблется плавно под звуки музыки.

«Бум, бум, бу-бу-бу – бум!» – отбивает ритм музыкант-барабанщик. Барабан так велик, что нести его приходится на широченных, пошире, чем у школьного ранца, лямках. И несет его музыкант не кругом вверх, как обычный барабан, а кругами в стороны – получают две ударные поверхности. Если взглянуть на барабанщика издали, увидишь мужика с огромным брюхом. А брюхо, верно, так набито, что идти трудно. Вот он и бьет колотушками по животу, чтобы все это как следует утрамбовать.

Не только барабанщик – все музыканты играют от души, полагая, надо думать, что чем громче, тем лучше. Вот, например, тот, что с металлическими тарелками. Они так оглуши-

тельно грохочут, аж вздрагиваешь от каждого удара! Кузнеца с его молотом и наковальней тут и не услышишь, кузнецу тут делать нечего.

А поглядите на скрипача! Как он извивается весь, с какой силой водит смычком по струнам! Пот катит с него градом, скрипка визжит пронзительно и жалостно, и в тон ей подвывают все бабы, что идут поближе.

Словом, мы, пацаны, были от оркестра в восторге. Один только баянист не заслужил нашего одобрения. Он никакого усердия не проявлял, вроде бы даже и не замечал, что играет на похоронах... Грузный, усатый, серьезный, он раздвигал меха своего баяна без каких-либо усилий, будто они сами раскрывались и закрывались. И лицо его при этом оставалось совершенно бесстрастным, неподвижным... Нет, – решили мы, – это плохой-музыкант! На похоронах надо играть с чувством, со слезой.

Внезапно процессия остановилась. Как, уже все? Да, все. На перекрестке стоял небольшой грузовик, борта его были опущены, кузов устлан коврами.

На эту машину и установили гроб с телом дяди Толика. Замолк оркестр, толпа рассыпалась на группы, начала рассеиваться. Грузовик и несколько машин с родственниками и друзьями уехали на кладбище.

Мы же отправились домой. Путь был неблизкий, но впечатлений хватило бы и на более долгую дорогу.

* * *

Похороны Ильяса были совсем иными и никакого удовольствия нам не доставили. Может быть, потому что чувства, которые мы испытывали к Ильясу, были гораздо более полноценными, человеческими. Так или иначе, но когда заходил разговор о предстоящих похоронах, мы каждый раз ощущали грусть. Жалко было Ильяса. И все же прощаться с ним мы шли, распираемые тем же неутолимим и нескрываемым детским любопытством. Еще бы, ведь Ильяс не просто умер, он стал утопленником! Кому же не хочется посмотреть на настоящего утопленника? Бедного Ильяса нашли только через неделю после того, как он упал в воду. Тело его всплыло гораздо ниже по течению, у ограды водохранилища гидроэлектростанции. Мы почти сразу же отправились к нему домой – прощаться. Не в день похорон, а накануне.

Чтобы не было страшно, мы явились большой компанией: Колька с Сашкой и их сестра Ленка, Эдем с Рустиком, Вовка Опарин, я. Кто-то из взрослых провел нас в спальню. Наш приятель лежал на матрасике, укрытый по пояс покрывалом, голова его покоилась на белоснежной подушке, на которой особенно ярко выделялось лицо. Мы уселись на корточках вокруг матрасика и сидели молча, стараясь не глядеть на этот раздутый, синевато-белый пузырь, на котором и без того узкие глаза совсем заплыли, а нос сполз куда-то вниз, к ставшему совершенно маленьким рту. Какая-то жалкая, реденькая прядочка волос виднелась на верхней части этого пузыря... Все, что осталось от черных, как смоль, волос Ильяса!

Что-то тянуло меня посмотреть на него, но тут же хотелось отвести глаза. И когда я их отводил, я очень ясно видел перед собой прежнее лицо Ильяса.

* * *

Я хорошо помню день, когда это лицо показалось мне особенно приятным, красивым и добрым. В тот день – это было за два года до гибели Ильяса – в столовой нашей школы, которая также служила и актовым, и концертным залом, заканчивались приготовления к торжеству: нас, малышей-первоклассников, должны были принимать в октябрята, а третьеклассников – в пионеры. Все столы и стулья были горой составлены в дальнем углу, отчего столовая сразу

стала больше, будто и стены ее раздвинулись. В натертых до блеска полах плавал солнечный свет, лившийся из окон.

Ответственным за приготовления к торжеству был дежурный класс, 3«А». Третьеклассники с красными повязками на руках бегали по залу с озабоченными лицами. Кто лестницу тащил, кто прибивал к стене лозунг, кто шары надувал, кто на сцене помогал микрофоны устанавливать. И все тихонько что-то бубнили. Можно было расслышать: «...торжественно клянусь...», «...выполнять законы и обычаи...» Сегодня им, третьеклассникам, повяжут красные галстуки.

Но сначала – наш черед...

Вот уже всех нас, будущих октябрят, привели в зал и выстроили – не шеренгой, а тремя кругами, один в другом. В середине, внутри этих кругов, стояли третьеклассники. Со сцены что-то говорил директор, но я от волнения ничего не мог разобрать, пока он не произнес: «Будущие пионеры, передавайте эстафету своим младшим товарищам!» И тут побежали к нам третьеклассники... Я в таком был волнении, что они казались мне не бегущими, а плавно и неторопливо плывущими в тумане. Вот кто-то подплывает к Женьке Андрееву – он стоит слева от меня, кто-то приближается к Гальке Бекташовой, что справа... Что-то они говорят, их руки мелькают... Все, как в тумане, сердце колотится. К волнению прибавляется страх: что же это ко мне никто не бежит? Может, про меня забыли?

Но вот еще одна фигурка поплыла в мою сторону... Передо мной остановился Ильяс Ильясов. Не торопясь отцепил свою октябрятскую звездочку. Приколол ее к моей голубой рубашке, похлопал меня по плечу.

– Поздравляю, Валерка! Теперь она – твоя. Ты теперь октябренок.

Он улыбнулся во все лицо, повернулся и стал удаляться так же неторопливо, будто плывя, как и пришел.

* * *

Живое лицо с широкой белозубой улыбкой я и видел пред собой, сидя в спальне Ильяса. А про то, что случилось с этим лицом, я не хотел думать. Не мог!

Но вот пришли прощаться с нашим другом другие люди и мы вышли из спальни. Мы устроились на скамейке возле подъезда и, подсунув под себя руки, покачивая ногами, долго сидели молча. Разговаривать не хотелось.

– Завтра похороны, – сообщил Рустэм. Мы это знали и сами.

– Если бы его, как дядю Толика хоронили, с музыкой, – тоскливо сказал я. С тех пор, как он умер кличка «Хмырь» никогда не употреблялась нами.

– Где справедливость! – Горестно отозвался Вовка Опарин. – Нет справедливости.

Мы молча согласились с ним.

Хотя у подъезда в день похорон собралось много народу, было очень тихо. Говорили шепотом, никто не оплакивал покойника. Не кричала и не плакала и мать Ильяса. Но лицо ее я запомнил. Оно было совершенно неподвижное, как неживое. Глаза запали, обведенные черными кругами. Ее поддерживали с двух сторон, но шла она все равно еле-еле. Вынесли носилки. На них лежал наш бедный друг, закутанный в темную ткань. И все это – в тишине, без музыки, без плача и горестных выкриков. Так странно было при таком скопище народа не слышать ничего.

Как и на похоронах дяди Толи, процессия двинулась к центральной улице. Только впереди несли не гроб, а носилки, только люди шли в такой странной тишине. Тихо было и когда подошли к тому месту, где стояла машина: Ильяса не ждали музыканты с их громкоголосыми инструментами.

Выдался безветренный, тихий, по-особому ясный осенний день. Пыльные смерчи не гоняли по улицам, как обычно бывает в это время. Казалось, и погода знает, что провожать Ильяса надо тихо, по татарским обычаям...



Глава 20. «а нам наплевать»...



Плевков плавно летел сверху, описав дугу, прежде чем плюхнуться на асфальт под моим окном. При этом раздался характерный, хорошо знакомый мне звук. За ним сразу же последовал второй, потом третий, и так без перерыва...

По частоте плевков я с точностью мог определить, сколько там, наверху, плюющихся. Я сам так часто вместе с друзьями занимался этой увлекательной игрой, что детально изучил все ее этапы, скорость падения плевка, звучание...

Сейчас плевками занимались мои друзья, братья Эдэм и Рустэм на своем третьем этаже. А я на своем первом этаже сидел у окна и наблюдал за их игрой с досадой и завистью.

«Хрр-р-р», послышалось сверху.

Я хорошо знал, что за этим последует...

Вот это «хрр-р-р», к примеру, издал Рустик. Он сейчас стоит, ухватившись обеими руками за оконную раму, словно гимнаст – за перекладину. Всем телом он откинулся назад и, запрокинув голову, всхрапнул, как конь. Для чего? Чтобы во рту собралось побольше слюны... А вот сейчас он уже стремительно пригнулся к раме и у самого ее края с силой сделал плевок...

Впрочем, у нас, пацанов, плевков имел другое название – «харчок». Соответственно сама игра – соревнование, кто плюнет дальше, не высываясь из окна, – называлась «похарчиться». Не очень благозвучно, но... Так уж нам нравилось.

Почему же я сегодня не принимал участия в этих замечательных соревнованиях, а тоскливо сидел на веранде в роли стороннего наблюдателя?

Дело в том, что меня не позвали. Вот уже дня два, как пацаны перестали со мной играть, разговаривать, вообще не замечали меня. Хотя мы перед этим не ссорились, я догадывался, в чем дело, и, страдая от одиночества, не мог себя заставить первым просить о перемирии.

Мы не ссорились, но поссорились наши отцы...

Причиной ссоры стала игра в мяч у нашего подъезда. Играла большая компания, в том числе Эдик, Рустик и Колька. Вообще-то играть в мяч у подъездов не разрешалось, но ребята то и дело нарушали это правило. И особенно часто нарушали его у нашего подъезда, точнее – у нашей веранды. Может быть, это и придавало особую прелесть игре...

Самым вспыльчивым и нетерпимым из взрослых в этом доме был мой отец, а, значит, у игроков появлялась приятная возможность вывести его из себя, послушать, как он орет...

И, может быть, поэтому мяч, взлетая в воздух, чаще всего ударялся не об асфальт и не о подъезд, и не в раму веранды соседки Доры, а именно в нашу!

Вот по какой причине я с тревогой наблюдал за игрой, стоя у окна веранды, а во двор не выходил.

Окна нам били уже несколько раз, видеть, как отец бушует, мне радости не доставляло, и я предпочитал быть подальше от игроков.

Когда мяч, наконец, влетел в наше окно, я успел отскочить и стекла посыпались не на меня...

Еще не затих звон и скрежет, как я услышал топот: это разбегались во все стороны перепуганные мальчишки. Как беснуется Юабов, лучше было слушать издали...

Я огляделся. На полу веранды среди осколков стекла лежал черный резиновый мяч, хорошо мне знакомый. На этот раз мяч показался мне каким-то самодовольным. Нарисовать бы ему мелом глаза и нос – а уж рот, конечно, появится сам. Причем, с широкой улыбкой: мол, нет для меня никаких преград.

Я подержал мяч в руках – и положил в уголок. Отдавать его было некому, пацаны попрятались. Да мне, как я сейчас понимаю, не очень-то и хотелось оказывать им такую услугу: окно ведь они нам разбили...

Ладно, пусть пока полежит здесь, решил я. Пусть-ка придут за мячом сами! То есть как пострадавший, я как бы перешел в этот момент на сторону отца, злорадствовал, что ребятам достанется, и не задумывался о последствиях такого выбора...

Вечером в нашу входную дверь постучали.

Зашел Василий Николаевич, отец Кольки и Сашки. В нашем подъезде он считался человеком значительным: Василий был торговым работником и кое-кому помогал с дефицитными продуктами, с мясом, например.

К нашей семье это не относилось: мало кто захотел бы помогать отцу...

Дальше прихожей Василий не пошел, перебросился какой-то шуткой с мамой, спросил дома ли Амнун. Вышел отец, они поздоровались.

– Верни, пожалуйста, детский мяч, – попросил сосед.

– Да, он у меня, – неторопливо промолвил отец. – Но пусть сначала вставят новое стекло...

Тут Колькин отец посмотрел на меня, молчаливо стоящего у двери своей комнаты.

– А мои дети всегда уходят к себе, когда взрослые разговаривают, – сообщил он мне.

Делать было нечего, я ушел к себе и притворил дверь. Но незачем и объяснять, что я прислонился к ней ухом.

Сначала голоса звучали довольно спокойно.

– Это наш мяч, Колькин... Мои дети окна не били. Говорят, это был Сервер, из соседнего подъезда, – басил Василий.

– А мне какое дело, Сервер, не Сервер... Игнали вместе, да? Значит все и отвечают... Отдам мяч, когда заменят стекло, – все так же монотонно отвечал отец.

– Послушай, Амнун... – голос Василия звучал уже раздраженно. – Я же тебе объясняю, что Колька ни при чем...

Но объяснять что-либо отцу было делом совершенно безнадежным. Он был упрям и никогда не шел на уступки, даже ради хороших отношений с людьми, даже когда речь шла о детях... Он просто не знал, что это такое уступка, великодушие, переговоры...

Отец был спортсменом, тренером. И, вероятно, любую конфликтную ситуацию рассматривал, как соревнование, где перед ним – противник. А противника нужно победить! Никаких компромиссов!

– Не отдам, понятно?

– Да ты что, не понимаешь, что ли?...

Голоса звучали все громче, слышались выкрики, топот ног. Я, вытянув шею, высунул голову в прихожую. Отцы уже сцепились у двери. Уже бежала из кухни мама с криком: «Папеш, перестаньте! Что вы, Василий!» И, конечно, ей же и досталось: разъяренный отец отпихнул ее, почти отшвырнул к стене. Вероятно, это и отрезвило немного Василия. Пробормотав: «Ну и псих! Эсь, ты прости...» – он вышел, хлопнув дверью...

Вот после этой истории Колька с Сашкой, владельцы мяча, перестали со мной водиться. И Эдем с Рустиком – тоже...

Сидя неподалеку от распахнутых окон веранды, внимательно и ревниво прислушиваясь к «харчкам», я незаметно начал размышлять о наших отношениях.

Уже не в первый раз пацаны внезапно со мной ссорятся. Или вся компания прекращает со мной водиться даже и без ссоры. Ссоры и драки между мальчишками – дело обычное. Подрались, разругались, а через час обо всем забыли.

Но тут было по-иному, тут было что-то другое.

И я вдруг подумал: а ведь это почти каждый раз из-за него, из-за отца... Ну конечно, как же я не замечал раньше? Стоит ему поругаться с кем-нибудь из соседей, с тем, у кого есть дети, мои друзья, как они начинают меня сторониться. А он ругается так часто! Наверно, пацаны слышат дома, как родители все это обсуждают, говорят про моего отца... Говорят такое...

Тут я даже съезжился, так мне стало обидно и неприятно. Я и раньше понимал, что отцовский характер известен всему дому, что его боятся, сторонятся. Сам-то я лучше всех знал, каков он с мамой, с нами, детьми. Но и каков он с другими, я тоже не раз видел.

Теперь бы я назвал характер отца непредсказуемым. Он мог помочь в чем-то человеку, хорошо, щедро помочь, а вскоре по непонятным причинам, ничего не объясняя, перестать с ним разговаривать. Но в любом случае должен был непременно настоять на своем, не слушая никаких доводов, проявляя железное упрямство...

Да, в доме не любили моего отца. Но я-то при чем тут?

Стоя на веранде и прислушиваясь к «харчкам», я горестно размышлял обо всем этом.

Я знал, что скоро мы помиримся, что пацаны сами подойдут ко мне, заговорят, позовут играть. Но минута не становилась от этого менее горькой. Мы помиримся, а потом они снова меня не захотят принимать в компанию?

Когда это случится? И сколько еще раз мне терпеть обиды? И неужели пацаны не понимают, что сам я гораздо больше страдаю из-за моего отца, чем кто-нибудь из них?

А с третьего этажа все доносилось хр-р-р, хр-р-р. Как будто мои друзья, стоя там, наверху, говорили: «А нам наплевать!»

Глава 21. Воскресные радости



– Ма-ла-ко-о! Кислый, пресный ма-ла-ко-о! – звонко и протяжно звучит за окном веранды. Это старая наша знакомая, молочница Фируза. Нет еще и восьми, но она уже, как всегда по воскресеньям, тут как тут. Мы с Эммкой наперегонки мчимся вслед за мамой открывать дверь. И вот она на пороге – приветливая, со смуглым лицом и обветренными щеками. Легко ставит на пол свои тяжелущие алюминиевые бидоны (каково ей таскаться с ними пешком по всему району) и здоровается с мамой: «Яхши ми сиз, опаджон?» Я люблю смотреть, как аккуратно и ловко наливает Фируза молоко в литровую банку, подставленную мамой. Так ловко, что струя падает, не колеблясь, и ни одна капля не прольется мимо. Бидон в ее руках кажется таким легким, а ведь мне не то что не поднять, мне и с места не сдвинуть эту глыбу... Фируза-опа напоминает мне одну из тех торговек маслом из Багдада, о которых я читал в какой-то книге о средневековом Востоке. Они разливали по сосудам масло столь искусно, что колечко, положенное на узкое горлышко глиняного кувшина, оставалось чистым...

Налив молоко, Фируза-опа ласково улыбается нам с Эммкой. Детей она любит, у нее у самой их много.

– Нравится мой малако-о?

Мы поспешно киваем. Нам нравится молоко, нравится и сама Фируза. Ее черные, как смоль, волосы заплетены во множество косичек, спадающих на темно-зеленую бархатную жакетку. Яркие и широкие шелковые штаны стянуты на икрах, обнажая шлепанцы, надетые на босу ногу... Ну, а что касается молока – мама считает, что прекрасное молоко дает корова Фирузы! Мы тоже так думаем... Мама его кипятит, ставит кастрюльку в холодильник, и наутро там образуется толстая, чуть кремовая пенка – сливки... Ничего нет на свете вкуснее! А как

красива эта пенка, как она мерно покачивается на поверхности молока! Очень жалко было ее трогать, но острое желание превосходило жалость. Пенка беспощадно разламывалась и раскладывалась в пиалы... Ах, как быстро она исчезала во рту вместе с кусочками хлеба!

– Налить еще малака-а? Хотите больше? – спрашивает соблазнительница, наполнив банку. О, она прекрасно умеет читать все, что написано на наших лицах! Фируза действует очень умело: ведь мама тоже не железная...

Но вот молочница ушла, громыхнули ее бидоны на следующей площадке. «Пресный, кислый ма-ла-ко-о!» – эхом разнеслось по подъезду.

Не успела закрыться дверь, как снова раздался стук. Это сантехник, дядя Толик. Мама вызвала его, чтобы заделать в ванной щель между краем ванны и стеной. Мы с Эммкой, купаясь, конечно забывали об этой злосчастной щели и обычно вылезали из ванны не на пол, а в большую теплую лужу, посреди которой, как болотистый островок, хлюпала мокренькая цветная дорожка.

Пузатый дядя Толик, кряхтя, склонился над ванной. Хотя ему и сорока нет, он из-за этой своей полноты довольно неуклюж и зачастую не может пролезть к нужному месту – в ваннх и туалетах, как известно, не слишком-то просторно... У светловолосого дяди Толика лицо круглое и очень доброе. Попроси его мама втиснуться под ванну, чтобы отремонтировать трубу, думал я, глядя на него, он бы так и сделал, но, конечно, застрял бы... И вот торчат из-под ванны дяди-Толиковы ноги, а он, приподняв ванну своим толстым пузом, отвинчивает сточную трубу... И лужа возле ванны все шире, все глубже... И уже плывет по ней, покачиваясь, ванна-корабль... А дядя Толик – это кит, на горбу которого (или на пузе, какая разница!) этот кораблик плывет... А мы с Эммкой на этом самом корабле визжим от удовольствия, просим: «В Африку, дядя Толик! Пожалуйста, в Африку! К Айболиту, к гиппопотамам!»

На этот раз все было гораздо прозаичнее. Дядя Толик заделал щель, починил сломанный кран. Мама с ним расплатилась.

– Скоро холода опять, – вздохнула она, отсчитывая рубли. – Как будет с горячей водой?

– Ой, Эсенька, не знаю, – в котельной вроде бы ремонт замышляют...

– На зиму? – ужаснулась мама. – Опять два месяца будем без отопления?

– Эсь, а начальству-то что? У начальства-то будет тепло!

Высказав свое мнение о начальниках, сантехник ушел. Мама позвала нас завтракать.

Кухня у нас небольшая, но столик на двоих в ней помещается. Мы с Эммкой ууселись, и мама подала нам завтрак: сладкий сырок с изюмом... Мама очень вкусно готовит, но для нас с Эммкой никакие чудеса кулинарии не могут сравниться с ванильными сырками, купленными в молочной. Для нас эти сырки – самое желанное, самое восхитительное лакомство. Прекрасен запах сладковатого творога, смешанного с ванилью. Прекрасна белизна, в которой таинственно темнеют изюминки. А уж вкус!..

Разрезав сырок, мама разложила его в две пиалы. Схватив ее обеими руками, Эммка тревожно заглядывала то в свою пиалу, то в мою: а вдруг мама разделила неправильно и мне досталось больше? Проверка прошла благополучно... Мы ели, не торопясь, смакуя каждый кусочек, стараясь растянуть удовольствие.

Тем временем мама появилась за спиной у Эммки с гребешком в руках. Кухня, конечно, не парикмахерская, но расчесывать Эммкины кудряшки так трудно, что приходится ловить подходящую минуту. Такую, например, как сейчас, когда Эммка наслаждается своим сырком и готова вытерпеть любую пытку. Даже эту... Ее густейшие каштановые волосы запутались за ночь, замотались, сваялись так, что хоть отрезай некоторые клубочки. Но мама терпеливо и осторожно работает гребешком, расчесывая прядь за прядью.

– Еще! – требует Эммка, облизывая пиалушку.

– Пожалуйста, дай еще, – поправляет мама. – Не забывай, ведь ты уже большая, тебе пять лет...

Эммка повторяет просьбу – и получает добавку... Мне, конечно, сырка не достается, зато достается мамин ласковый взгляд. Больше, чем взгляд, – то выражение маминого лица, которое может утешить любые мои печали, усмирить мои капризы. Уголки ее губ приподнимаются в нежной улыбке, густые брови сливаются в одну плавно бегущую волну... «Она же малышка, сынок. Прости ей...» – вот что говорит ее взгляд, ее лицо, как бы объединяя нас в заботе об Эммке...

Ну, ничего, счеты с сестренкой можно будет свести потом, наедине... А пока она наслаждается своей добавкой, а я слежу, как мама неустанно бороздит гребешком уже послушные теперь кудри, время от времени снимая с зубцов пушистые клубочки волос и складывая их на подоконнике... Неужели же, думаю я, мама и Эммке собирается делать когда-нибудь прическу с волосяной шишкой? Ну уж нет, Эммке это нисколько не подходит! Мама – это другое дело. А Эммка... И я даже зажмуриваюсь, представив себе, какой некрасивой будет кудрявая сестренка с шишкой волос на затылке.

Но вот и та, и другая закончили свою работу. Я тоже очнулся от размышлений и вдруг заметил, что сестренка облизывается, уставившись на меня. Чего смотрит-то? На сырок я, что ли, похож? Ну, хорошо-о-о...

В эту игру – кто кого перетаращит – мы играем не в первый раз. Эммка всегда проигрывает и, конечно, забывает об этом. Свой главный маневр я начинаю не сразу. Сначала – все очень безобидно: я то шурюсь, то, наоборот, вытаращиваю глаза так, что они вылезают из орбит, то скашиваю зрачки направо, налево, подымаю их, опускаю, вращаю глазами... А ты, мол, можешь так? Да, Эммка это может и все послушно повторяет... Я коварно приближаюсь к цели: начинаю быстро-быстро похлопывать ресницами... Эммка повторяет, как может, но ей очень трудно. И тут – мой беспробитный ход – я начинаю моргать одним глазом! Вот этого Эммка совсем не умеет, не получается у нее ничего! Она щурится, жмурится, приподнимает нос, даже верхнюю губку – все тщетно!

О, какое отчаяние написано на ее лице! Вот этого я ждал, я даже знаю, чем все сейчас завершится. Вскочив со стула, Эммка затопала ногами – и завизжала. Но как! Не просто во весь голос, а таким громким, пронзительным, непрерывным визгом, что слышен он, конечно, по всему дому.

Все малыши любыми путями стараются добиться своего. Но у моей сестренки способности выдающиеся: умением визжать, голосистостью она превосходит всех девчонок в доме... Я размышляю об этом, наслаждаясь победой. Конечно, сестренку немного жалко... И успокоить-то ее не так трудно: если бы я сейчас пожалел ее, обнял... Или даже в щечку поцеловал... Хитрюшка такая! Значит, я прощения должен просить? Ну уж...

И я сижу себе, как ни в чем не бывало, пожимаю плечами. Чего это она вдруг? С ума сошла, что ли? Или сырками объелась? Я сижу, пожимаю плечами и смотрю на маму очень невинными глазами, с улыбкой взрослого, снисходительного человека: «Малышка... Простим ее».



Глава 22. Однажды ночью



Но до этой ночи был день, который я провел неплохо. А вечер – просто прекрасно...

Сначала я сидел на веранде и занимался рисованием. Положив лист бумаги на подоконник, я рисовал снежинки. Рисовал я их красным карандашом – толстым, с мягким грифелем. Замечательный у меня был карандаш, импортный. И снежинки получались очень красивые.

– Ты чего там сидишь?

Это с улицы окликнул меня Димка.

Наши веранды имели общую стену, так что Димка, живший в шестом подъезде, был моим ближайшим соседом. Поэтому мы были почти приятели, хотя Димка был года на три постарше да к тому же имел причины важничать: папа его был офицером...

– Погляди! – гордо сказал я, показывая Димке свое произведение, для чего мне пришлось, изогнувшись дугой, повиснуть на раме своего окна, погляди, как красиво! Знаешь, почему так ярко получилось? Это потому, что я слюнявил грифель!

Но на Димку мои успехи в области искусства не произвели ожидаемого впечатления. Наоборот, он сделал такую гримасу, будто увидел что-то противное.

– Нашел, чем заниматься! В такую-то погоду... Пошли лучше в офицеров сыграем!

Погода, действительно, была прекрасная. Стояла осень – совсем недавно закончились мои первые школьные каникулы, но закончились и нестерпимо жаркие летние дни. Солнце уже не шпарило с зенита, а светило мягко, словно лаская все вокруг. В такой денек только и гулять...

Я вздохнул. Мама сегодня работала во вторую смену, папа возвращался домой не раньше восьми вечера, а сейчас было около пяти. Значит, мне предстояло еще не меньше трех часов

сидеть в запертой квартире. Выходить из дома в отсутствие родителей нам с Эммкой запрещалось...

– У меня ключей нет, – печально доложил я Димке. – А мама заперла нижний замок...

– При чем тут нижний – верхний... Ты на каком этаже живешь? Забыл?

Забыть-то я не забыл, конечно, и через окно веранды на улицу вылезал много раз, не так уж это трудно. Пугало другое: как с Эммкой быть? Она ведь тоже дома... Конечно, с ней ничего не случится, если побудет одна, большая уже. Но ведь все расскажет родителям эта ябеда!

Я стоял в тяжелом раздумье. С улицы доносились голоса ребят, хохот. Там шли приготовления к игре.

– Ну-у? Давай же! – поторапливал Димка.

И я решился. Воровато оглянувшись на дверь в комнату, я перекинул ногу через раму. Димка поднял руки, чтобы подстраховать меня. И в ту же секунду на вернаду выскочила Эммка.

– А я все расскажу! Я все расскажу маме! – радостно вопила она, подпрыгивая. Ее короткое платьице надувалось, как маленький парашют, кудряшки вздымались, глаза сверкали... Удивительное дело – почему это девочкам доставляет такое удовольствие ябедничать?

Уже вися на раме по ту сторону окна, я показал сестренке кулак и спрыгнул... Пусть немножко поорет, скоро надоест...

Я пошарил рукой в кустах возле нашего огорода. Там у меня была припрятана палка – хорошая, отшлифованная, без изгибов и заноз. Именно то, что нужно для игры в офицеров.

Неподалеку от подъезда на площадке за тротуаром все уже было готово для игры. Очень старательно и четко были прочерчены примерно в двух метрах одна от другой семь параллельных полос. Первая была «солдатской», каждая последующая обозначала очередной офицерский чин, кончая генеральским. Добраться до этого высокого звания – вот цель игры. Перед последней, генеральской линией установлена на кирпичях жестяная банка. Собыешь ее своей палкой-битой, вернешься к тому же невредимым с поля боя – заслужишь очередной чин. Это далеко не так просто, можете мне поверить. Мальчишки – большие мастера придумывать сложные военные игры. Разбитые коленки, синяки и прочие ранения никого не пугают. Они только приносят славу...

Десять пацанов из нашего и соседнего домов выстроились на солдатской полосе. Нам предстояло выбрать часового, охраняющего жестянку. Очень важная фигура, опасный противник для тех, кто состязается за чины. А выбирают его все тем же способом – сбивая жестянку. Тот, кто ее сбил, сразу же избавляет себя от тяжелой и нелюбимой роли часового.

– Сейчас я ее, с первого же раза! – Витька Смирнов, мой кореш, прицелился, отвел руку с палкой назад и... бросок!.. Нет, порошу не хватило. Палка плюхнулась метрах в двух от жестянки. Бедный Витька прямо ахнул с досады. Чем дальше палка от цели – тем больше шансов стать часовым. А никому неохота.

– Берегись! – проревел Опарин. Жестянку и он не сбил, но его палка упала поближе.

Из десяти бросков самым неудачным оказался Витькин. Пришлось ему занять пост у жестянки.

И грянул бой!

Все мы выстроились на старте – у «солдатской». Палка летела за палкой, а жестянка все стояла на своих кирпичях, как заколдованная... На этот раз повезло мне. Вне себя от восторга я увидел, как жестянка со звоном отлетела метров на семь от кирпичей. Но наслаждаться было некогда! Все пацаны с дикими воплями, обгоняя меня, уже мчались вперед. Скорее, скорее! Теперь каждый должен подобрать свою палку, прежде чем часовой поставит жестянку на место. Кто не успеет, тому придется трудно: как только жестянка поставлена, начинается «ближний бой»: Витька Смирнов прыгает вокруг жестянки, а мы, как стая волков, окружаем Витьку. Его боевая задача – задеть палкой хотя бы одного из нас. Поди-ка, попробуй тут схватить свою

палку! Если Витька «осалит» кого-то, а затем собьёт банку – он победил! Кого задел, тот и будет новый часовой. Наша же задача увертываться, не давая задеть себя, сбить жестянку и оставить бедного Витьку в часовых опять...

«Ближний бой» – зрелище живописное и шумное. Проходим, не знакомым с игрой в офицеров, может показаться, что здесь происходит настоящее побоище и надо бежать за родителями, а то и за милицией. Войдя в азарт, мы все орем дикими голосами, мы так размахиваем своим оружием, что то и дело задеваем друг друга, вскрикиваем от боли, переругиваемся, палки скрещаются со стуком, пыль стоит столбом...

– Давай, Кулик, смелее! – покрикивает Опарин на Кольку Куликова.

– Козел ты, Севрюга! Защищай меня, когда я нападаю! – Это Сипа «воспитывает» своего партнера Сервера.

– Куда бьешь, маака! Между ног надо! – это уже Сервер поучает третьего из их летучей команды, Эдема...

Послушаешь издали, подумаешь, что перекликаются овладевшие речью звери самых различных пород: кулики, севрюги, козлы, мааки... Кто сказал, что в Чирчике нет зоопарка? Есть, да еще самый колоритный во всей Азии.

...Мы все устали. Все покрыты ранами, потом, пылью. Витька Смирнов оказался могучим бойцом, стойким стражем жестянки. Эта побитая, искореженная, продырявленная банка из-под сгущенки казалась недостижимой под защитой его широко раздвинутых ног... И вдруг раздался общий рев восторга: это Опарин, изловчившись, сбил банку... Снова рев – Эдем наподдал ей еще. И, наконец, я, завершив дело, заслал жестянку за пределы поля...

Мы гоняли в «офицеров» пока не начало темнеть. Из окошек уже раздавались призывные крики родителей. Тут и я спохватился: как там Эммка? Пора, давно пора было возвращаться. Тем же путем, конечно...

Витька Смирнов, еще не забывший, что в игре мы были противниками, хмуро посмотрел на меня, но согласился помочь залезть на веранду. Я осторожно взобрался на его спину, Витька закричал. Уже вцепившись в раму, я прошептал: «Спасибо, Вить, пока!»

Эммка, хоть и обрадовалась, что я вернулся, тут же снова стала дразниться, что наябедничает. Лучше всего было уложить ее, не дожидаясь прихода отца. Умывшись и поужинав, мы улеглись в постели. Я мигом стал задремывать, перед глазами у меня мелькали наши боевые палицы. Но тут раздался писклявый голос сестренки:

– Вале-е-ра-а!

Ага, вот оно! Наступила минута отмщенья – мне даже спать расхотелось. Сейчас проучу эту ябеду.

Дело в том, что Эммка боялась засыпать одна и зачастую просилась ко мне в постель. Обычно я брал ее. Но сегодня...

– Валера, можно к тебе-е?

– Сколько кошек в доме развелось! Ужас... Говорят, они теперь уже и по квартирам стали лазать... – задумчиво сказал я.

Всхлипывание. Такое жалобное, долгое... Еще бы! Что может быть страшнее горящих в темноте зеленых глаз! Я выждал минуту, другую...

– Ва-а-ле-е-ра!

– Ябедничать будешь? – спросил я торжественно и строго.

– Не-е-е-т! – донесся из темноты дрожащий голосок.

– А вдруг будешь? На что мне такая сестренка-ябеда, а? Обменяем тебя на братишку... С ним будет веселее, мальчишки не ябедничают...

– Я больше не буду! Не надо обменивать, пожалуйста... – И Эммка снова всхлипнула так жалостно, как умеют всхлипывать только очень маленькие дети.

– Ну, хорошо, давай...

Быстрый, дробный топот босых ножек – и почти в то же мгновение ко мне прильнуло теплое Эммкино тельце. Она вздохнула глубоко, всхлипнула в последний раз... И мы уснули.

* * *

Я проснулся внезапно то ли просто так, то ли от каких-то звуков. Мама? Нет, мамы в комнате не было. Она уже Эммку забрала к себе – значит, заходила к нам, вернувшись ночью со смены. Но почему-то за дверью раздавался то шорох, то движение. Не привычная поступь родителей, сопровождаемая пощелкиванием домашних шлепанцев. Нет, это был другой, незнакомый шум, и он меня пугал. Может, кошки, старался я успокоить себя. Вспомнил, как Эммка боится кошек и каким смешным мне это казалось. Но сейчас я и сам не испытывал никакого удовольствия при мысли, что квартира, может быть, полна кошками, и я увижу, как светятся в темноте зеленые глаза... А шум то прекращался, то снова возникал... Вот будто голос чей-то, шепот... Шаги... Заскрипели полы, все ближе к моей двери... Она приоткрылась, кто-то осторожно ходил уже по моей комнате... На секунду мелькнул лучик света... Я зажмурился... Приоткрыл глаза – снова темно. И шорох, шорох...

Я покрылся холодным потом. Открыл рот, чтобы крикнуть: «Воры, воры!» – но ни звука не вылетело из моей глотки. Сперло дыхание, я похож был на немую жабу...

Все затихло. Я лежал, не в силах пошевелиться, прислушиваясь, вглядываясь в темноту. Наверно, это долгое напряжение было не по моим детским силам, я внезапно заснул, когда, как – не помню.

Утром меня разбудили громкие голоса. Отец и мама о чем-то взволнованно переговаривались. По квартире разгуливал ветер – я понял, что распахнута входная дверь. Что-то случилось... И я почему-то знал, что случилось! Не успев додумать эту мысль, я кубарем слетел с постели.

Отец сидел на корточках в прихожей и что-то подбирал с пола. Рядом с ним валялась открытая Эммкина сумочка, набитая ее сокровищами – какими-то серебристыми ленточками.

– Как это я не услышал? – бормотал он.

– Они знают, когда приходить! Время самого глубокого сна выбирают... – У входных дверей стоял дядя Юра, Дорин муж. Это он, оказывается, поднял тревогу рано утром, когда, идя на работу, увидел, что наша дверь почему-то открыта, а в прихожей никого нет... – Они свое дело знают, – сказал он, как бы отдавая должное мастерству воров и в то же время сожалея о постигшей нас беде.

– Как же это я не услышал? – снова пробормотал отец.

– Я слышал... Я их услышал! – Я сказал это сначала очень тихо, потом выкрикнул, вдруг ясно вспомнив, что случилось ночью.

Отец поднял голову.

– Ты слышал? Тогда почему не позвал, не кричал, что грабят?

Я собирался ответить, что не кричал, потому что голос мой исчез куда-то, звуки не вылетали из горла. Но объяснять это было слишком трудно. И почему-то ужасно не хотелось.

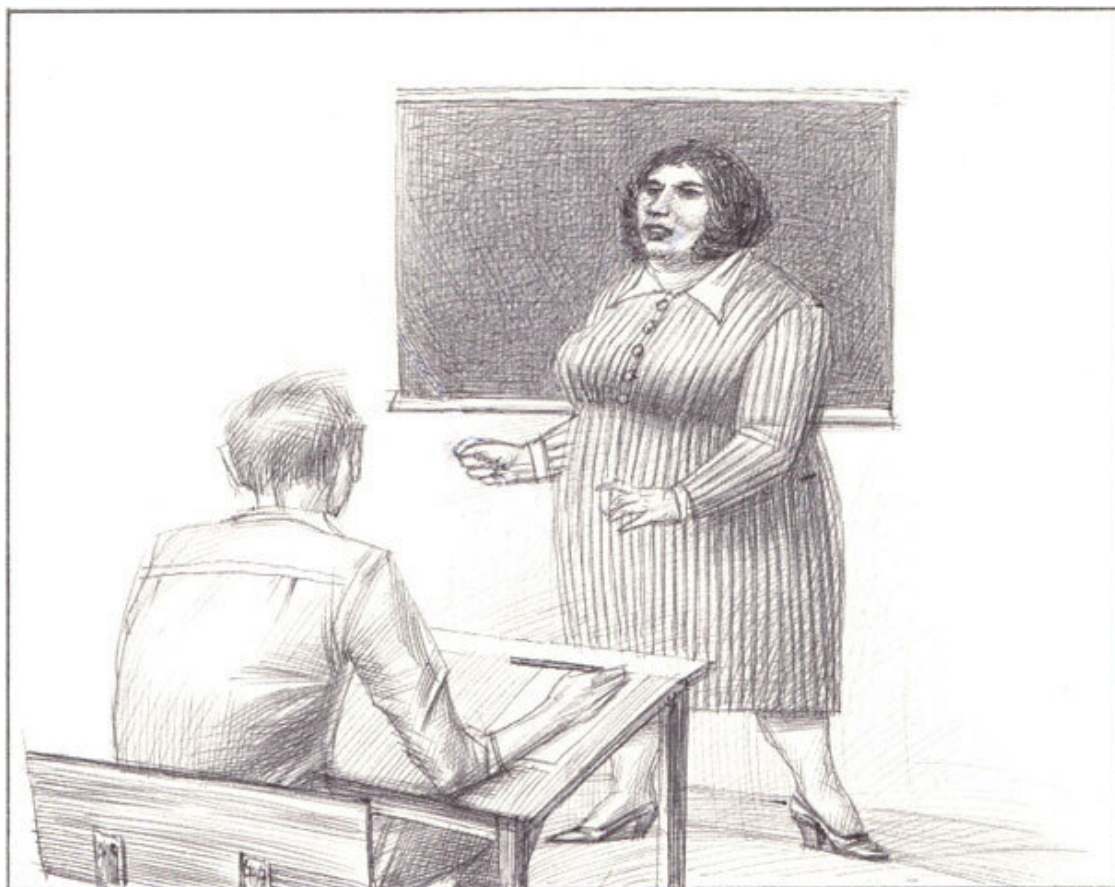
– Ну, чего вам надо от ребенка? – Мама подошла и обняла меня. Она, как всегда, все понимала. – Он крепко спал, ему что-то почудилось сквозь сон... И слава Богу, что...

Она не закончила, поцеловала меня, потом подошла к вешалке.

– Слава Богу, взяли только пальто одно... Демисезонное. Нахлебнички...



Глава 23. Мой папа тоже педагог



– Юабов, если еще хоть раз сделаю тебе замечание, запишу его в дневник!

Дождался... Как теперь быть? Как я могу не ерзать и не оглядываться, если за моей спиной сидит Лариса Сарбаш. У Ларисы такие глаза, что стоит ей взглянуть на меня, как я... Ну, я не знаю, что тогда происходит со мной, только мне все время хочется смотреть на нее и смотреть. И что-нибудь ей говорить, потому что Лариса замечательно слушает, ее глаза тогда открываются совсем широко... Эх, если бы мы сидели рядом! Но Лариса сидит позади, а я – за второй партой в среднем ряду, так сказать, под самым носом у нашей учительницы. Оборачиваться – нельзя. Не оборачиваться – просто невозможно!

Я томлюсь, а учительница наша Екатерина Ивановна, или Толстуха, как мы прозвали ее еще в прошлом году, в первом классе, прохаживается в это время вдоль классной доски. Пол возле доски обычно поскрипывает, а уж под ней-то должен скрипеть – вон какая грузная. Но учихала наша умеет ходить как-то по-особенному: она не переваливается всей тяжестью с ноги на ногу, а как бы медленно плывет, как бы катится... И пол молчит! Заложив руки за спину, Толстуха плавает взад-вперед, взад-вперед – и все говорит, говорит... Рассказывает новый материал – про круговорот воды в природе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.